

Военные
Приключения

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ



НИК. ШПАНОВ

Военные приключения

Николай Шпанов

Красный камень (сборник)

«ВЕЧЕ»

2010

Шпанов Н. Н.

Красный камень (сборник) / Н. Н. Шпанов — «ВЕЧЕ»,
2010 — (Военные приключения)

Уходят в сверхдальний перелёт на аэростате военный лётчик Михаил Канищев со своим напарником. Чем закончится это опасное путешествие? Удастся ли распутать очередную головоломную загадку «отечественному Шерлоку Холмсу» – знаменитому Нилу Платоновичу Кручинину и его молодому другу Сурену Грачику? Сможет ли ускользнуть от агентов спецслужб отважный Арву Митонен? Ответы на эти вопросы вы найдёте в книге, написанной одним из классиков советских остросюжетных произведений...

Содержание

Красный камень	6
Голубеграмма из Усть-Сысольска	6
1. Куда мы полетим?	6
2. Куда мы летим?	7
3. Огни святого Эльма	10
4. Враги наши кумулусы	12
5. Съесть или выпустить?	15
6. Тайга и сонеты	17
7. Капитан – самозванец и гурман	19
8. Трубка мира	23
9. Все вернуть ты можешь многократно!	27
Последний «медвежатник»	32
Глава первая	34
Курьерский Петербург – Москва	34
«Гусар смерти»	37
Дом в Бутырках	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Ник. Шпанов

Красный камень (сборник)

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Красный камень

Голубеграмма из Усть-Сысольска

Судьбы писателей не одинаковы. Одним удается с первого раза написать произведения, открывающие перед ними двери литературного Олимпа, другие по несколько десятков лет умудряются оставаться в рядах скромных середняков, не проникающих дальше олимпийской прихожей. Но от этого литератору не становится менее дорого то, что он сделал на протяжении своего литературного пути. С годами появляется опыт, обостряется глаз, повышаются вкус и требовательность к самому себе. Вместе с тем подчас какой-нибудь пустяк, сделанный много лет назад, сохраняет для автора свою ценность. Вероятно, тут играют роль ассоциации, связанные с этим забытым было пустяком.

Не знаю, как бывает у других, но мне до сих пор дорог небольшой очерк, написанный тридцать лет назад. Он ценен для меня тем, что это мое первое произведение, напечатанное в большом литературном журнале. Вероятно, в очерке нет особых литературных достоинств, но он – важная веха на моем жизненном пути. Очерк мил мне потому, что его я первым увидел в печати; потому, что после его опубликования я получил первые читательские письма; потому, что после его появления редакции впервые обратились ко мне как к писателю.

А написан он был при таких обстоятельствах.

В один весенний день 1926 года – да простит мне читатель этот трафарет, но день был действительно прекрасен весенним теплом, светом, перезвоном трамваев и гулким цокотом подков на Никольской, где тогда еще не было ни потока автомобилей, ни густой толпы стремящихся в нынешний ГУМ, – в тот весенний день на моем редакционном столе позвонил телефон.

В трубке я узнал голос главного инспектора Гражданской авиации Владимира Михайловича Вишнева.

– Вы живы? – спросил он.

– Пока да.

– И здоровы?

– Кажется...

– Странно, – удивленно проговорил Вишнев, – а у меня на столе лежит молния из Усть-Сысольска. Там поймали почтового голубя с голубеграммой: воздухоплаватели Канищев и Шпанов совершили посадку в тайге и просят помощи. Не знаю, стоит ли снаряжать спасательную экспедицию на тот свет? Ведь за истекшие полгода волки, наверно, обглодали их кости.

Мы оба рассмеялись. Речь шла о голубеграмме, отправленной Канищевым и мною полгода назад из таежных дебрей Коми.

Мы поговорили с Вишневым о «надежности» голубиной почты и на том расстались. Но в тот же день мне позвонил редактор «Всемирного следопыта» Владимир Алексеевич Попов. Он любил «открывать» писателей и умел подхватывать все, что интересно читателю. Из случайного разговора с Вишневым Попов узнал о голубеграмме. Теперь он просил меня описать свое таежное приключение для читателей «Следопыта». И вот что я тогда написал.

1. Куда мы полетим?

Я был назначен вторым пилотом сферического аэростата «1400», участвовавшего в первых советских воздухоплавательных соревнованиях в свободном полете на продолжительность.

Мой товарищ по полету – первый пилот, профессор Военно-воздушной академии Михаил Николаевич Канищев был не по возрасту грузный, медлительный человек. Последний вечер перед полетом он просидел, угрюмо уставившись дальнотзорными глазами в голубое поле синоптической карты. Вопреки практике и здравому смыслу, он пытался разгадать намерения капризной атмосферы по прихотливо выющимся линиям изобар. Канищев не был ипохондриком, но за синоптическими картами он становился ворчуном. Прогноз был, по обыкновению, сбивчив: вечером он противоречил тому, что предсказывали утром, а утром небо наглядно отрицало вечерние утверждения метеорологов. И так без конца. Поэтому Канищев настойчиво пытался сам по карте движений атмосферы представить, в каком направлении понесет нас завтра воздушная стихия. Нам следовало избрать такую высоту и такое направление ветра, чтобы пройти наибольшее расстояние и побыть в воздухе дольше всех. По-видимому, Канищев так же, как я, не забывал о том, что у нас есть серьезный соперник: экипаж Федосеенко – Ланкман. Правда, аэростат у нас новый, еще ни разу не бывший в полете, и объем его – тысяча четыреста кубических метров – позволяет рассчитывать на хороший запас балласта. Но все же... Мало ли всяких неожиданных «но» ждет аэронавта в свободном полете!.. Да к тому же мы не можем похвастаться сеткой: старая, взятая с аэростата меньшего объема, она не внушает доверия.

– А знаете, маэстро, – задумчиво заявляет Канищев, – дела-то не блестящи. Ветры самые отвратительные: изо дня в день на северо-восток.

– Бросьте ваше гадание на кофейной гуще. Нагадаете север, а полетим на юг. Меня, откровенно сказать, больше занимает вопрос – сколько продержимся?.. А где сядем – не все ли равно? Выходы отовсюду есть. Гадать – только время терять. Идемте-ка лучше на боковую. Завтра чуть свет – на ноги.

– Валяйте, а я еще разберусь в сводках.

Но, по-видимому, в конце концов и ему надоели замысловатые узоры изобар с беспорядочно смотрящими во все стороны стрелками ветров. Сквозь сомкнутые веки я видел, как он клюет носом над синоптическими картами. Свет в комнате погас, и я услышал возню. Канищев сопел и кряхтел так, словно делал тяжелейшую работу.

Я подумал о неугомонности человеческой природы. С его комплекцией и сердцем сидеть бы в кабинете и предаваться изучению излюбленной истории воздухоплавания. Ан нет!..

2. Куда мы летим?

День прошел в хлопотах, сумерки уже надвигались, когда приготовления к старту были закончены. С бортов корзины сняты балластные мешки. В самой корзине все уложено в надлежащем порядке, приборы – на рейках, карты и провиант – в сумках по бортам, тяжелый балласт – в мешках на дне корзины.

Рубящий слова голос стартера:

– Дать свободу!.. Вынуть поясные!

Восхищенно-растерянные физиономии мальчуганов, тесным кольцом обступивших старт, стали быстро уходить вниз. Сердце у меня екнуло при виде того, как с места в карьер Канищеву приходится травить балласт, чтобы не налететь на мачты радио, некстати выросшие на нашем пути. Но вот и эти препятствия остались в стороне. Мы были на чистом пути. Внизу, в каких-нибудь двух сотнях метров, лежала Москва, отчетливо кричавшая гудками автомобилей и быстро уходящими шумами трамваев.

В самое сердце столицы врезались своими черными шупальцами пауки железнодорожных узлов. Мы пересекли одну за другой путаницы нескольких станций.

Становилось меньше домов, больше деревьев, тусклой желтоватой листвы, спаленной дымным дыханием заводов, буро-красными коробками обступивших город. Но кончились и они. Свежели деревья. Свободней потянулись к небу их зеленые шапки. Расплывчатые приго-

роды Москвы утонули в зелени садов. Как браслетом, отрезала «пределы города» Окружная дорога. Мы – за границами столицы.

Канищев не отрываясь сидел за приборами, время от времени посылая за борт совок балласта. Над Окружной дорогой он коротко бросил:

– Гайдроп!

– Есть гайдроп.

Один за другим уходили за борт аккуратно сложенные витки толстого морского каната. Я должен был сделать это так, чтобы Канищев не заметил толчка, когда гайдроп повиснет на обруче. Фут за футом канат уходил к земле. На руках сразу вздулись кровавые пузыри.

– Гайдроп вытравлен!

Берусь за бортовой журнал. Надо заносить данные каждые пятнадцать минут.

«18 часов 12 минут, высота 200 метров. Курс 29 норд-норд-ост. Температура 14 с половиной выше нуля».

Из гуши деревьев, с желтых прогалин, донесся задорный крик:

– Эй, дядя, садись! Са-а-ди-ись к нам!

Я поглядел вниз, на конец гайдропа. Сверился с компасом: курс 32, и ветер как будто много быстрее, чем по прогнозу. Мы шли со скоростью шестидесяти-семидесяти километров вместо предсказанных жрецами погоды двадцати.

Проплыли над Пушкином.

В стороне осталось Софрино.

В сумерках у станций смешно мельтешили озабоченные дачники.

Массивная фигура Канищева все так же молча торчала в своем углу у приборов. Время от времени он постукивал ногтем по стеклам, разгоня сонливость стрелок.

Беспредельно далеко и вместе с тем как-то совсем тут, рядом, пылала вечерняя заря. Это были не лучи, а просто темно-розовое зарево, какого не увидишь с земли. Пыль и дым навсегда закрыли там от людей чистоту заката, и люди никогда не видят его в настоящей красе. Если бы они знали, как это здорово! И провожает солнце невероятная, просто неправдоподобная тишина. Такой тоже не бывает на земле.

Быстро тускнел запад. Из багрового он превратился в лиловый. Потом темно-серая мгла затянула все небо. И вот уже почти совершенно темно. Без помощи карманного фонаря невозможно разобраться в показаниях приборов.

Мертвенно-белый луч на минуту выхватил из мрака коробки альтиметра и барографа. И снова все погрузилось в полную чернильного мрака ночь. Только призрачно фосфоресцирует своими черточками циферблат часов. Время от времени прощуршат в своей корзинке почтовые голуби, лениво переворкнувшись во сне.

– Закурим? – спросил Канищев.

Я вынул из сумки банку с монпансье. Это наши «папиросы». Чиркнуть на шаре спичкой – значит наверняка взлететь на воздух. Вероятность пожара – ровно сто процентов.

В десятке километров к норду остались огни Сергеева: небольшая группа мигающих желтых глазков, вкрапленных в черный бархат лесистых далей.

Курс все больше склонялся на ост. Вместо черного бархата лесов под аэростат подбегала тускло-серая гладь огромного озера. Справа совсем невдалеке бисерным венцом горел Переславль-Залесский.

Полет установился. Можно было закусь. Шли все с той же скоростью под курсом 33–34 норд-норд-ост. Внизу – беспросветная тьма. Изредка промерцает одинокий глазок в какой-нибудь сонной деревушке, и снова черная пустота, нет ничего.

Под резким глазом фонаря карта, лежащая у меня на коленях, казалась светло-зеленым ковром леса. Лес без конца. Чем дальше к северу, тем зеленее делается карта. Это, может быть, и красиво, но такая красота вовсе не кажется мне привлекательной.

Твердой черной стрелкой вонзалась в поле зелени моя курсовая черта, упиравшаяся прямо в Ростов-Ярославский, он же Великий.

Действительно, через несколько минут впереди на норд-осте ярким пятном вырисовались его редкие огни. Подошли к городу. В нем царила полная тишина.

– Город Ростов!.. Город Ростов!..

Но наш рупорный зов остался без ответа. Ростов спал. Только из самого центра, с пятна затененных деревьями ярких фонарей, доносились звуки оркестра. По-видимому, бравурным мотивом запоздалые ростовчане-великие старались отогнать сон. Мирно плескалось о темную набережную озеро. На нем – никакого движения.

В воздухе становилось все свежей. Легкая пена белесоватой мути временами совсем скрывала поверхность земли. Было все труднее определять направление нашего движения. Небесный свод блистал мириадами ярких светил сквозь широкие просветы в облаках, беспорядочно нагроможденных над головой.

Эти окна, в которые, мигая, глядели звезды, делались все меньше. Скоро облака начали набегать на аэростат. Решительно ничего не стало видно, даже самая громада нашего шара скрылась из глаз.

И без того редкие огоньки деревень стали еще реже. Вероятно, их слабый мерцающий свет не мог пробиться сквозь туманную завесу низких облаков.

Те облака, что были пониже, бежали вместе с аэростатом, а верхние густыми тяжелыми массами направляли свой стремительный бег под углом к нашему курсу – почти прямо на север. Из этого Канищев заключил, что нужно всячески избегать увеличения высоты полета. В этом случае нас могло понести к Ледовитому океану. Тогда пришлось бы садиться прежде времени, даже не израсходовав балласта.

Холодная сырость забиралась за воротник. Неприятно зябла спина.

Судя по карте, оставалось рукой подать до Ярославля. Через каких-нибудь полчаса мы убедились в том, что так оно и есть. Прямо на нас шло светло-голубое зарево мерцающих ярославских огней.

Но в чем же дело? Почему вся масса огней не приближается к нам, а как будто уходит куда-то влево? Сверяюсь с компасом и вижу, что ветер резко меняется, курс круто склоняется к осту. Приближаемся к Волге, но вместо того, чтобы ее пересечь, идем вдоль левого берега и даже уклоняемся на зюйд.

Курс быстро перешел на 50, 60, 70 и продолжал склоняться к осту.

– В чем там дело, Николай Николаевич? Что за прелестная улица влево от нас?

– Матушка-Волга, Михаил Николаевич.

Улицей сказочного города-гиганта поблескивали под нами огоньки волжского фарватера. Между бакенами и створами от огонька к огоньку, шлепая колесами, полз пароход. Два ряда горящих огнями палуб отражались в черной воде. Их блики разбегались по зыблящейся от парохода воде. Но и это все осталось на норде. Опять мы оказались в плотной темноте.

Вглядевшись в фосфоресцирующую линейку компасной стрелки, отмечаю курс: уже 95. Снова из-под гайдропа показалась улица волжских огней. На этот раз мы шли ей наперерез и, оставив вправо тусклые огоньки набережной Плеса, опять ушли на норд-ост. Где-то очень далеко на зюйд-зюйд-осте остался утонувший в черноте городок. И снова мы погрузились в непроглядную темень. На этот раз ей нет границ. Небо и горизонт так же черны, как земля.

Таинственной жутью повеяло от донесшихся с земли, из непроглядной мертвой темени, двенадцати длинных-длинных ударов дребезжащего колокола: полночь.

Кругом все та же удивительная тишина. Изредка доносится с черной земли шорох гонимых ветром по лесу лиственных волн.

– Хорошо...

– Хорошо, – шепотом подтверждает Канищев. – Кто раз полетел, непременно полетит еще.

В полном безмолвии время бежит в темноту.

Делается все свежей. Пора доставать фуфайки.

3. Огни святого Эльма

Среди ночного молчания, такого полного, что невольно говоришь шепотом, где-то далеко, точно за обитой войлоком перегородкой, послышался глухой раскат – как будто бесконечно далеко произошел обвал.

Раскат мягко прокатился по горизонту, перегораживая дорогу аэростату. Это было нешуточное предостережение. Гроза – бич воздухоплатователей: им приходится выбирать между возможным пожаром и немедленной посадкой.

Канищев ничего не сказал. А мне казалось, что обратить его внимание на приближающийся грозовой фронт – значило проявить малодушие: вдруг он только сделал вид, будто не слышал... Так мы оба продолжали молчать.

Ветер крепчал. Тяжелые тучи, несшиеся наперерез аэростату, становились все плотней. Все реже мелькали в облачных прорывах клочки далекого звездного неба. Оно потеряло свою яркость, сделалось плоским, с мутными прозрачно-синими пятнами созвездий.

Единственным выходом было набрать высоту и пройти над грозой. Но этот здравый путь был закрыт. Движение облаков говорило о неблагоприятном для нас – на большой высоте – направлении ветра.

Вот снова басистый раскат впереди. Он уже не такой мягкий и заглушенный. Точно накачивается высоким валом бурный поток. Через две-три минуты еще – более сухой и короткий. Ему предшествовал пробежавший по небу неясный светлый блик. Похоже на зарницу. Пока далекую.

– Ваше мнение, маэстро? – спросил Канищев.

Стараюсь угадать его мысль, но голос его безразлично спокоен. Приходится отвечать то, что думаю сам:

– Приготовить парашюты и лететь на той же высоте. Подниматься нет смысла, понесет на чистый норд. Это нас не может устроить.

– Спустите парашюты за борт и приготовьте всю сбрую.

И он снова погрузился в свои приборы, а я занялся парашютами.

Тяжелые желтые сумки в виде перевернутых ведер скоро висели на наружном борту по разным сторонам корзины. «Сбруя», поблескивая карабинами и пряжками, была тщательно расправлена внутри корзины.

Новая яркая вспышка, как ракетой, осветила черную сетку хлынувшего дождя. Голубой огонь, все еще очень далекий, но уже достаточно яркий, высветил весь аэростат и корзину – с темными кружками приборов, с частым переплетом уходящих кверху стропов, с грузной фигурой Канищева.

Стало совсем неудобно от дробно застучавшего по тугой оболочке дождя.

– Может быть, гроза и очень хороша в начале мая, – с благодушной иронией проговорил Канищев, – но в конце сентября – это мерзость... Особенно в нашем положении.

Далеко впереди, просвечивая сквозь сетку дождя, мутным заревом показался большой город. При виде огней людского жилья мысль о грозе стала не такой неприятной.

– Ориентируйтесь! – сказал Канищев, мельком глянув на приборы. – Что это за город? Проследите курс по гайдропу.

Взяв в руку компас, я перегнулся через борт. И тотчас у меня вырвалось восклицание изумления.

– Что случилось? – поспешно спросил Канищев и тоже глянул за борт.

Весь гайдроп лучился бледным голубым светом, словно его густо смазали фосфором. Восьмидесятиметровая стрела, спускающаяся за борт в направлении земли, неслась в окружающей черноте, мерцая голубым ореолом.

Это было так необычайно и так красиво, что оба мы не могли оторваться от неожиданного зрелища. Даже забыли про приборы и курс.

Подняв голову, я увидел, что светятся и клапанный строп, и разрывная вожжа. Правда, их свечение казалось менее интенсивным на более светлом, чем земля, фоне аэростата. Творилось что-то необычайное. Я не мог удержаться, чтобы не протянуть руку к стропам, желая проверить себя, и в страхе отдернул ее обратно: концы моих пальцев тоже засветились. Повернувшись к Канищеву, я увидел, что и он уставился на свои руки. Издали было хорошо видно: они излучали мягкий голубоватый свет.

Должен сознаться – мне стало не по себе. Я тщательно обтер руки платком и включил карманный фонарь, чтобы записать показания приборов. Но как только я его погасил и глаза опять привыкли к темноте, снова стал ясно виден странный свет, излучаемый всем такелажем.

– Догадываетесь? – с нескрываемым восторгом спросил Канищев. – Результат электризации атмосферным зарядом. Это явление довольно часто наблюдается в южных морях. Там такое свечение называют огнями святого Эльма. По поверью, всякий корабль, на котором появятся эти таинственные огни, должен... – Тут Канищев осекся и деловым тоном договорил: – Поглядите на землю и скажите – что это за группа огней под нами?

– Если судить по широкой реке, то, пожалуй, Кинешма. Но из-за облачности я так запутался, что утверждать не могу, – признался я.

Широкая лента реки тускло блестела внизу, отражая огоньки небольшой прибрежной деревни. Огней было мало. Они располагались на большом расстоянии один от другого, а скоро и вовсе исчезли. Только по крику петухов и редкому лаю собак можно было судить о том, что иногда там, во тьме, проплывали под аэростатом погруженные в сон деревни.

Потом и вовсе не стало слышно деревень. С земли доносилось только однообразное, похожее на шум морского прибоя, шуршание леса. Вероятно, ветер внизу был сильный. Временами казалось, будто деревья шумят совсем рядом. Высокие нотки свиста в ветвях прорывались сквозь монотонный шорох.

Широкая спина Канищева в белой фуфайке загородила от меня доску со слабо мерцающими фосфором приборами. Его жесткий ноготь все постукивал по стеклу, будя стрелки анероидов.

Но вот тьма стала уходить на восток. Делалось холодно-серо. Сквозь серую мглу внизу проступали леса. Черно-зеленая гуша деревьев, подернутая пятнами осенней ржавчины, иногда расступалась, чтобы дать место узенькой светлой прогалине.

Столбик ртути в термометре упал на четыре деления. Перо барографа заметно пошло на снижение. Я исподтишка поглядывал на Канищева: почему он так спокоен?.. Неужели его не тревожит стремление аэростата идти все ниже и ниже?.. А как же с дальностью полета? Как с Федосеенко и Ланкманом?

4. Враги наши кумулусы

Прошло не больше часа полета в серой предрассветной мути, как из-за горы темных облаков на востоке проглянули ярко-красные лучи. Увы, ненадолго. Сразу же их снова заволокли тяжелые серые тучи.

В 4 часа 16 минут пополуночи день уже полновластно вступил в свои права. После сравнительно теплой ночи мы сразу почувствовали его неприветливые объятия. Легкий холодок стал забираться под воротник тужурки и неприятно щекотать позвонки.

Шум ветра в вершинах леса доносился все более и более явственно. По тому, как под ударами ветра гнулись стволы деревьев, можно было судить о его скорости – по крайней мере, метров в двенадцать даже у земли. Здесь, наверху, было больше.

Мало-помалу пейзаж стал несколько разнообразиться деревушками, ютившимися на юру, около узких извилистых речек. Надо было воспользоваться тем, что внизу показалось несколько белых и красных рубах.

– Ка-а-ка-я губе-ерния? – крикнул я в рупор.

– Куды летишь?

Повторяю вопрос:

– Губерния какая?

А они свое:

– Садись к нам! – И зазывно машут шапками.

– Какой уезд?

– Никольской!.. Северо-Двинской!..

Никольский уезд, Северо-Двинской губернии?

Значит, курс нанесен за ночь правильно.

Следующий час прошел в борьбе с упорным стремлением аэростата идти к земле.

Дождь нас добивал. Несмотря на взятый при старте большой запас балласта, его оставалось мало. За борт полетели бутылки из-под нарзана. Туда же последовала срезанная взмахом финского ножа низенькая скамейка – наше единственное уютное сиденье в корзине. Посоветовавшись, решаем пожертвовать даже парашютами. Но только выброшенные из драгоценного последнего мешка балласта несколько совков песку преодолевают наконец упрямую тягу аэростата к земле.

Под нами один за другим пошли извилистые рукава реки Юга. На земле никогда нельзя себе представить, даже при наличии карты, истинной линии течения такой реки. Она извивается до неправдоподобия прихотливыми изгибами, десятки раз обходя одно и то же место. Подлинный ее рисунок гораздо больше походит на аграмант на рукаве старинного дамского пальто, чем на течение солидной реки.

Скорость полета непрестанно увеличивалась. Под нами настолько быстро пробежали селения, что мы не успевали спросить жителей о месте нахождения. С большим трудом выяснили, что в пятидесяти километрах на nord лежит Великий Устюг.

В подтверждение правильности этого сообщения перед глазами заблестела зеркальной лентой Сухона. В просеке мелькнула долгожданная линия железной дороги. Это – ветка на Котлас. Теперь мы были уверены в правильности ориентировки. Но возникала другая проблема: дальше в направлении полета, на протяжении, по крайней мере, двухсот километров, на карте не обозначено ни единой деревушки – сплошняком идет зеленое пятно леса. А балласта уже почти нет. Протянем ли мы эти двести километров до Вычегды?

– Ну, маэстро, ваше мнение? – вглядываясь в высотомер, спросил Канищев. – Протянем?

Вопрос представляется мне праздным. Поэтому мой ответ звучит, вероятно, не очень любезно:

– Допустим, что нам их не протянуть, – что из этого?

– Вас устраивает посадка на лес?

Пришлось признаться:

– Нет, не устраивает... А в этих местах особенно. Но...

Канищев делает вид, будто не догадывается о том, что я имею в виду. Я не сразу понял: ему хочется услышать, что я думаю насчет Федосеенко и Ланкмана. А когда понял, то рассмеялся: разве не разумеется само собою, что мы должны тянуть до последней возможности, чего бы это ни стоило. Федосеенко и Ланкман – серьезные соперники!

Канищев, постукивая пухлым пальцем по стеклам, один за другим оглядел все приборы. Потом своими прищуренными глазами, кажущимися вблизи подслеповатыми, а на самом деле зоркими, как хороший бинокль, он оглядел горизонт, небо. Раз и другой посмотрел на северо-восток. Оттуда на нас наступал новый вал – темный, как морской накат в приливе.

– Видите кумулусы, в которые мы сейчас влетаем?

Я не был слепым.

– Они нас погубят... – с хрипотцой проворчал Канищев. – Если Федосеенко таких не встретил, все шансы на его стороне.

Я, как на личных врагов, смотрел на собиравшиеся вокруг нас серые облака и раздумывал над создавшимся положением.

Пока мы советовались, снова мелькнувшая было дуга железной дороги осталась далеко позади. Оба мы облегченно вздохнули: умышленное затягивание привело к нужному результату – садиться уже поздно. Даже если бы мы смалодушничили и решили закончить полет, сделать это нельзя – нужно выжать из аэростата все его возможности.

Внизу глазу было не на чем остановиться. Подернутые желтизной волны лесов тянулись, насколько хватал бинокль. Кое-где среди зарослей мелькали ржавые пятна, утыканные почерневшими стволами сгнивших осин.

Вот показалась еще какая-то река. На большом расстоянии друг от друга по берегу разбросаны черные избы. Веселым пятном выделился белый квадратик монастырской ограды, тесно охватившей церквушку и несколько крошечных келий с зелеными крышами.

Впереди снова не было видно ничего, кроме леса, – бесконечное зелено-желтое море лесов.

Прошел томительный час. Канищев не отрывался от приборов. Из-за его спины я видел, как стрелка альтиметра, несмотря на ободряющее постукивание первого пилота, неуклонно клонится книзу. За какой-нибудь час она сошла с 950 метров на 150 и продолжает падать.

Только бы не дождь! Если его не будет, мы, может быть, еще и дотянем до Усть-Сысольска. Ближе садиться негде.

Вопреки всем доводам разума, в глубине души у меня еще копошилась надежда на то, что нам удастся пролететь дальше, чем Федосеенко. Лишь бы не дождь!

Да, лишь бы не дождь...

А дождь уже громко стучал по оболочке. Нам предстояла неизбежная посадка.

Предательские кумулусы, образовавшиеся два часа тому назад, слезоточили все сильнее. Из-за этих слез наш гайдроп уже начал чертить по верхушкам деревьев.

Мой бинокль обшаривает горизонт. Нигде ни единой прогалины. Неужели придется садиться на лес?

Быстро пристропливаю по углам багаж. Срезаю с рейки часы и... не успев засунуть их в карман, кубарем лечу в угол корзины. Гайдроп зацепился за крепкий ствол высоченной сосны. Громкий треск, хруст, и полутораобхватная вековая сосна, дернувшись нам вслед, взлетела над вершинами своих могучих соседок. Один за другим трещали под нами стволы. Пляска совершенно обезумевшей корзины свидетельствовала об усердной лесозаготовительной работе гайдропа.

– До смерти хочется пить, – хрипло пожаловался Канищев.

Я принялся за выполнение трудной задачи: достать из сумки бутылку нарзана и откупорить ее. В бешеных размахах корзины сквозило явное стремление вытряхнуть за борт все содержимое вместе с нами, и все-таки наконец бутылка была у меня в руках. Быть может, это было и очень глупо, но мне почему-то казалось, что если Канищев получит свой нарзан, то мы еще продержимся в воздухе, обойдем нашего сильного конкурента. Теперь можно посмеяться над тем, что я тогда сражался с нарзанной бутылкой, как с препятствием, стоявшим на нашем пути к победе. Но, право, тогда эта борьба, наверно, вовсе не показалась бы смешной самому смешливому человеку. Я мог действовать только одной рукой – вторая была нужна, чтобы держаться за борт и не позволить взбесившемуся аэростату выбросить меня на вершины сосен.

Тот, кто видел в фильмах, как ковбои укрощают мустангов, только что взятых из табуна, может себе приблизительно представить мои ощущения. Разница была лишь в том, что выброшенному из седла наезднику некуда лететь дальше двух метров, отделяющих его от земли, а под нами зияло еще несколько десятков метров, отделявших нас от густых и чертовски неприветливых вершин леса.

Я был уверен, что победил стихию, когда наконец штопор с выдернутой пробкой оказался у меня в руке, а из зажатой между колен бутылки фонтаном бил нарзан.

Канищев стал жадно пить из горлышка, рискуя выбить себе зубы. Рывок корзины, еще более сильный, чем все предыдущие, заставил его выпустить бутылку. Я успел только увидеть, что он широко простер руки, и в следующий миг его большое тело закрыло от меня все. Меня вдавило в угол корзины так, словно на меня наехал шоссейный каток. Эта страшная тяжесть все давила и давила, с сопением, с кряхтеньем. При этом нас катало по дну корзины, швыряло от одного борта к другому. Канищев бранился и делал судорожные усилия подняться, еще крепче наваливаясь на меня своими полутораста килограммами. Только воспользовавшись несколькими секундами затишья, нам удалось разобраться в путанице собственных рук и ног и быстро занять свои места у бортов.

Взгляд вниз сказал все: нескольких минут катания по корзине оказалось достаточно, чтобы положение стало непоправимым. Федосеенко, Ланкман?! Нет, сейчас приходилось уже считаться только с тем, что аэростат со скоростью экспресса несся над самым лесом. Всего несколько метров отделяли корзину от вершин сосен. Сквозь грохот бури я услышал команду:

– На разрывное!

Усваиваю ее машинально, без раздумья. Руки работают рефлекторно. Всей тяжестью висну на красной вожже разрывного полотнища. Щелкнул карабин.

Напрягаю все силы, чтобы отодрать разрывное. Однако и постарались же его приклеить!

Из-за мелькающих за бортом вершин видна желтая прогалина, поросшая относительно редкими деревьями; по-видимому, на нее и рассчитывает опуститься Канищев.

У меня уже не осталось в запасе ни единой дыны, взмокло все тело, а разрыва все не было. Рядом со мной на вожже повис Канищев. Однако даже этого груза оказалось недостаточно. Казалось, выхода нет. Мы бросили разрывное и оба вцепились в клапанный строп. Уже не хлопками, а непрерывным открытием клапана старались избавиться от газа. Но это не было делом одной минуты.

Наша корзина, как погремушка, хлопала по вершинам деревьев. Аэростат, гонимый порывами бури, тянул все дальше от облюбованной прогалины. Наконец у него не осталось сил тащить за собой обмотавшийся вокруг сосен гайдроп.

Аэростат озлобленно забился, не оставляя ни на секунду в покое корзину и вытряхивая из нее остатки содержимого. Ценою ободранных рук мне удалось зачалить клапанный строп за крепкий сук соседней сосны, и мы снова сделали попытку вскрыть разрывное. Все было напрасно. Тогда мы решили переложить эту работу на аэростат и в удобный момент накоротко

закрепили за дерево и разрывную. Огромным желтым пузырем оболочка билась в вершинах. Как пушка, гроыхала толстая прорезиненная ткань.

Посадка совершенна. Я обтер кровь с рук и, обессиленный, опустился на борт корзины, служивший нам теперь полом, а ее пол стоял отвесно за спиной. Я с удивлением увидел, что все приборы висели на рейках. Только трещины пауками легли на стекла.

– Айда покурить! – благодушно заявил Канищев. – Помогите немного выбрать гайдроп, чтобы приспособить его вместо лестницы. Мы тут, по крайней мере, на высоте шестого этажа... Да, застряли на редкость неудачно.

Через пять минут грузная фигура Канищева скользнула по гайдропу вниз и, коснувшись почвы, сразу ушла в нее выше колен. Избранная нами для посадки прогалина оказалась болотом.

5. Съесть или выпустить?

Вволю накурившись, Канищев устроился на пеньке и разгладил на коленях намокшую карту.

– Итак, маэстро, идем на северо-запад, пока не выберемся к реке, – проговорил он так весело, будто речь шла о воскресной прогулке. – Совершенно ясно: держась такого направления, мы выйдем к воде.

Я не разделял его оптимизма.

– До последней минуты в бинокль не было видно реки. Нигде, до самого горизонта.

– Если, конечно, не считать того, что сейчас мы стоим по колено в воде, – рассмеялся Канищев. – А дело с провиантом – табак? – продолжал он с необъяснимой веселостью. – Что вы как завхоз имеете предъявить?

– Четыре мокрых бутерброда, пачка размокшего печенья, плитка шоколада и полбутылки портвейна, – уныло отвечал я.

– Не густо, маэстро, но надо считать, что в самом худшем случае нам придется идти... не больше восьми суток.

– Да, на восемь дней, судя по карте, можно рассчитывать.

– По сколько же брэнной пищи выходит на нос в сутки?

– Четвертинка бутерброда, одна бисквитинка, полдольки шоколада и по глотку портвейна. Да вот с голубями надо решить еще, что делать. Приходит, на мой взгляд, здравая идея: изжарить их.

– Нет, – подумав, решает Канищев, – пока понесем божьих птах. А там будет видно. Итак, маэстро, компас в руки – и айда. Решено: запад-северо-запад. Пошли?

– Пошли!

Но на деле этого решения оказалось недостаточно. Уже через десять шагов дали себя знать упакованные в балластных мешках приборы. Цепляясь за сучья, слезая с плеч, они не давали идти Канищеву, на долю которого выпала эта нагрузка – более легкая, но зато и менее удобная. Через нас эти мешки превратились в его заклятых врагов. Борьба с ними становилась тем труднее, что руки Канищева были заняты корзинкой с голубями.

Так мы шли часа три, кружа между тесно сгрудившимися вокруг нас стволами. Основное направление поминутно терялось. Нужно было обходить глубокие болота или нагромождения бурелома.

Эти три часа нас вполне убедили в том, что путь несравненно более труден, чем мы предполагали. По-видимому, прежде всего нужно было избавиться от громоздкой корзинки с почтовыми голубями.

– Ну-с, маэстро, давайте решать: жарить или выпустить? – спросил Канищев, залезая по локоть в дверцу корзинки.

Я проголосовал за то, чтобы отправить голубей с записками.
– Возражений нет, – согласился Канищев. – Готовьте записки.
На старом скользком стволе поваленной сосны открыли походную канцелярию.

«ГОЛУБЕГРАММА

Срочная.

Доставить немедленно.

К первому телеграфному пункту.

Всякий нашедший должен вручить местным властям для отправки.

Москва, Осоавиахим.

Сели в болоте в треугольнике Сольвычегодск – Яренск – Усть-Сысольск.
Думаем, что находимся в районе реки Лупы или Лалы. Будем идти по компасу
на северо-запад или запад-северо-запад. Полдневный паек одного разделили
на восемь дней для двоих. Идти очень трудно. Выпускаем обоих голубей.

Канищев, Шпанов.»

Под резиновые браслетки на лапках голубей укрепили патрончики с голубеграммами.
Обе птицы дружно проделали первый широкий круг и взяли направление прямо на север. Судя
по всему, они пошли на Яренск.

Уверенные в том, что наши птицы достигнут людей и навстречу нам выйдет помощь, мы
пустились в путь.

Но природа была против нас. В первый же день непрерывный дождь успел промочить нас
до нитки. Кончилось болото, но зато начался густой бор с непроходимым буреломом. Подчас
брала оторопь: мы упирались в гору наваленных друг на друга стволов. Во всех направлениях
– горизонтально, наклонно и вертикально – завалом в два человеческих роста лежали двухоб-
хватные великаны, наполовину истлевшие на своем вековом кладбище.

Уютный зеленый мох прикрывал эти нагромождения великанов-покойников. Нога про-
валивалась в труху выше колена. Деревья до того прогнили, что можно было легко растереть
их в ладонях. Но их было столько, что на это понадобилась бы вся жизнь.

Мне стало от души жаль грузного Канищева, которому было вдвое труднее моего выби-
раться из таких западней, но я был бессилён помочь ему.

Перед каждым препятствием он останавливался, и лицо его отражало душевную борьбу.
Я видел, что охотнее всего он уселся бы на пенек и принялся за отнятую у меня трубку. Однако,
посидев в раздумье, он все же шел на штурм завала. По большей части дело кончалось тем,
что он срывался сверху какой-нибудь ослизлой кучи и, посидев и посопев, принимался искать
лазейку, в которую мог бы проползти на карачках. Иногда это ему удавалось. Тогда он с крях-
теньем, обдираясь о сучья, вползал в черный туннель, пахнувший мхом и прелой гнилушкой.
Проходило пять-десять минут, прежде чем я встречал его, багрового от усилий, на другой сто-
роне завала. Дыхание вырывалось из груди толстяка со свистом, какой издаёт предохра-
нительный клапан парового котла.

После каждого завала ему приходилось отдыхать. Так, с передышками мы шли до суме-
рек, а к самой темноте попали в западню, из которой от усталости уже не могли выбраться. Со
всех сторон из неуютной мокрой темноты на нас глядели беспорядочно навороченные груды
стволов; за этим завалом высокие вершины сосен терялись в темном небе. Канищев вымотался.
Почерневшими от жажды губами он прохрипел:

– Маэстро, я пас. Давайте ночевать.

Выбрали местечко под стволом высокой сосны. Нарубленный лапник должен был спасти
нас от сна в воде. Попытка развести костер не увенчалась успехом. Бились с хворостом, с гни-

лыми щепками, с берестой – все напрасно. Намокшее дерево с шипением гасло под струями непрестанно плачущего неба.

Усталость взяла свое, и мы оба заснули. Правда, сон не был особенно крепким. Намокшее платье остыло. Холод быстро завладел нашими усталыми телами. Было трудно отогреться под насквозь промокшей шинелью Канищева, а мое бобриковое полупальто служило нам подстилкой.

6. Тайга и сонеты

Чуть забрезжил рассвет – мы были на ногах. Не скажу, чтобы мы выспались, но немислимо было дольше лежать от трясущего нас озноба. Натянутый на голову резиновый мешок из-под карт перестал создавать иллюзию тепла. Дыхание лишь собиралось на поверхности резины, и холодные капли падали нам на лица.

Решили двигаться в путь. Но сначала поели: по два квадратика шоколада и по глотку портвейна. Канищев взмолился, и я отдал ему половину оставшейся у нас бутылки нарзана.

На этот раз несколько удобнее связали имущество, получилось нечто вроде вьюка.

Сегодня бурелом не казался таким отчаянно непроходимым. Канищев довольно бойко нагибался, чтобы пролезть под стволами, повисшими на сучьях соседних деревьев. Он даже без особенной брани вытягивал ноги из наполненных ржавой водой ям.

Но эта резвость была недолгой. Часа через два мы увидели, что, в сущности говоря, идти по-прежнему непереносимо тяжело.

– Скажите на милость, маэстро, какой леший играл здесь в свайку и нагородил эту чертову прорву стволов? – сетовал Канищев. – Ведь старайся, как лошадь, нарочно такого не наворотить.

Я не успел подать реплику: ноги скользнули вперед, обгоняя мой ход. Я быстро пополз на спине с косогора, прямо в объятия заросшего камышами болота.

– Ого-го-го! – донеслось сверху. – Куда вас унесло?! Ау!

– Полегче там! – отвечаю. – Я уже съехал этажом ниже.

Но вот мои ноги уперлись в топкий берег. Оказывается, это вовсе не было болото. Желтые листья, пятнистым ковром укрывшие поверхность воды, заметно для глаза двигались. Течение! Река!

– Аллю, сюда! – радостно крикнул я наверх.

– Ну что же, одно из двух: это или очень плохо, или очень хорошо, – флегматично резюмировал Канищев. – Если нам нужно через нее переправляться – плохо; если можно идти берегом – хорошо. А каково дно? Перейти можно? – осведомился он.

– Судя по всему – тина.

– А направление течения?

Я сверился с компасом.

– Почти строго на норд.

– Не попробовать ли идти по течению? – после некоторого раздумья сказал Канищев. – Вероятно, это один из притоков Лупьи или сама Лупья в натуральную величину... Я почти в восторге!.. Вы какого мнения, маэстро?

Я и на этот раз не разделил его восторга.

– Нам ничего другого и не остается, как идти по течению, раз не можем переправиться. И есть ли смысл переправляться, чтобы плутать с компасом по этому проклятому лесу?

– Давайте попробуем. Но только, чур, я уж сначала попью. Напьюсь вволю и наберу с собою воды в бутылку.

Идти по берегу оказалось совершенно невозможно, настолько он зарос и так близко лес подходил к воде. Волей-неволей пришлось уклониться от реки. Снова все в тот же лес.

Несколько часов продирались сквозь бурелом. Местами можно было прийти в отчаяние от путаницы полуобгорелых, полусгнивших и цепких, как чертово дерево, коряг. И все же в конце концов мы снова выбрались к берегу. Судя по размерам и по направлению течения, это была уже другая река – шире и медленней прежней. Вероятно, та речка, от которой мы недавно ушли, впадает в эту. Решили идти по течению. Размеры этой новой реки внушали уважение. Если бы мы были в ином настроении, то, вероятно, смогли бы оценить и красоту ее диких берегов.

Из-за серой сетки мелкого дождя на нас неприветливо глядели высокие обрывы. Их песчаные берега потемнели от воды и были завалены все тем же нескончаемым нагромождением поваленных деревьев. В иных местах было темно, как ночью. Но выбора не оставалось. Такой уж оказывалась наша злая участь – подобно медведям продирайтесь напрямик, только вперед.

Ветви деревьев, тесно сгрудившихся на нашем пути, цеплялись за нас, не желая выпустить из своих мокрых объятий. Их гостеприимство не останавливалось перед тем, чтобы в кровь раздирать нам лица, оставлять себе на память ключья нашего платья. Но мы шли, пренебрегая этим жестоким приемом. Иного пути нам не было. Мы шли из последних сил, пока Канищев не опускался в изнеможении на какой-нибудь особенно трудный для преодоления ствол. Тогда поневоле приходилось делать роздых.

Скоро путь стал несколько разнообразней. Круча берега время от времени сменялась небольшими отмелями с жесткой желтой травой – там, где река делала повороты. Отмели были пологи и подходили к самой воде. Мы без труда черпали ее, и одно это было уже большой отрадой посла двух суток выбора между жаждой и питьем из болот.

К вечеру дождь почти перестал. Надо было подумать о ночлеге. И на этот раз счастье, кажется, нам улыбнулось: на одной из отмелей мы наткнулись на серый, по-видимому, очень давнишний, стожок сена. Сено было трухлявое, местами совсем черное, затхлое. Оно давно сопрело. Какими судьбами его сюда занесло, и как сохранился этот стожок? Вероятно, дровосеки или сплавщики заготовили когда-то, да так и бросили.

Я принялся выкапывать в стоге нору для спанья, пока Канищев разводил костер. Весело взвились к темному небу языки пламени, суля тепло. Как это здорово – согреться и обсушиться перед сном! Не без труда подвешенная над пнем кружка обещала нам нечто вроде горячего чая, правда, без единой порошинки китайской травы. Но разве при достаточной силе воображения мутная вода не может сойти за самый высокосортный чай?

Столбом валил пар от подставленных к огню ног. Платье дымилось, будто горело. А впрочем, быть может, оно и тлело местами, – нам было не до таких пустяков. Мы подбирались к огню так близко, как только терпело лицо. Насладиться теплом! Вот единственное, чего нам хотелось.

Сапоги почти просохли. Но шинель и пальто пропитались водою насквозь – они были безнадежны.

У костра было так уютно, что не хотелось лезть в тесную «спальню».

Лукаво подмигнув, Канищев принялся рыться в своем рюкзаке. Я решил, что меня ждет приятный сюрприз. Интересно, что же он приберег для такого случая, как вечер у яркого костра? Печенье? Кусок колбасы?.. А может быть, банку хороших консервов?

Ждать пришлось недолго – Канищев вынул со дна рюкзака плоский сверток в пергаменте. Я понял, что буду пить «чай» аж... с шоколадом!

Хитрый толстяк, подогревая мой аппетит (в чем, право, не было надобности), с нарочитой медлительностью разворачивал пакетик. Вода в кружке уже бурлила. Я бережно снял ее с огня. Кипяток с шоколадом!.. С шоколадом!

– Ваша очередь, – сказал я, глотая слюну, – по старшинству.

– Да, я с удовольствием... – ответил он, улыбаясь, и наконец раскрыл бумагу.

В руке у него был маленький томик в изящном переплете красного сафьяна. Обрез бронзовел благородной патиной позолоты.

Канищев надел очки и наугад раскрыл томик:

...it is an ever fixed mark,
That looks on tempets, and is never shaken,
It is the star to every wandering bark
Whose worth's unknowh,
althought his height be taken...

Всей жизни цель – любовь повсюду с нами,
Ее не сломят бури никогда,
Она во тьме над утлыми судами
Горит как путеводная звезда...

Голос Канищева звучал все чище. В нем не слышалось теперь ни хрипоты, ни обычной одышки. Он читал наизусть, закрыв томик:

Одна любовь крушенья избегает,
Не изменяя людям до конца...

Щеки Канищева вздрагивали, он держал очки в руке наотмашь, и стекла их при каждом движении вспыхивали, как цветы из багряной фольги. Это было неправдоподобно: тайга, стог сгнившего сена, просыхающие сапоги над костром и... сонеты.

Коль мой пример того не подтверждает,
То на земле никто любви не знает.

Я забыл о вожделенном шоколаде, и кружка стыла на земле. Дождевые капли взрыбили в ней воду. Я взял кружку и с церемонным поклоном подал чтецу. Он принял ее, как, вероятно, принимали когда-то кубок менестрели, и, выпятив толстые губы, стал отхлебывать мутную жижу. Она была еще горячая.

Канищев сделал несколько глотков и так же церемонно вернул мне кружку. Я снова поднял ее и пока, обжигаясь, тянул кипяток, Канищев прочел еще два или три сонета.

Однако дождь скоро заставил все же Канищева спрятать сафьяновый томик и загнал нас в сенную нору.

Ну что же, в конце концов тут было не так уж плохо. Особенно после ночлегов под открытым плачущим небом. Жаль только, что наш дом так эфирен. Стоило Канищеву повернуться с боку на бок, и из стенки спальни вывалился огромный кусок. А к утру окон стало так много, что спальня вентилировалась лучше, чем надо. И все же убежище оказалось достаточно теплым, чтобы превратить мокрое платье в хороший согревающий компресс. Холод мы почувствовали, только вылезши наружу, чтобы приняться за остатки шоколада и кипяток.

7. Капитан – самозванец и гурман

День начался большим развлечением. Возле крутого берега мы увидели застрявший плот и решили воспользоваться им для плавания вниз по реке.

Канищев отрекомендовался специалистом плотового дела. Приходилось верить на слово. Мы сбросили с плота бревна верхнего ряда, казавшиеся лишними, навалили кучу ветвей,

чтобы багаж не проваливался в воду, и, вырубив несколько длинных шестов, отправились в путь. Отплытие ознаменовалось купанием: мы по очереди сорвались в воду и снова промокли до костей.

Но непривычная тяжелая работа с длинной слегой хорошо разогрела. Я едва успевал перебежать с одного борта на другой по команде «капитана», стоявшего на корме и направлявшего ход плота своей жердиной.

Познания Канищева в плотовом деле обнаружили очень скоро: уже через четверть часа мы сидели на коряге, и как-то так странно вышло, что мы засели не носом и не кормой, которые легко было бы снять простым балансированием, а самой серединой. Плот взгромоздился на огромную позеленевшую корягу, загадочно улыбающуюся нам замшелыми морщинами сквозь рябь воды. Пряди ее зеленой бороды развевались по течению.

– Экая досада! – смущенно бормотал Канищев. – Ведь место-то какое глубокое... Все так хорошо шло... Ну да ладно, давайте с левого борта от себя – и вперед... Так, так!.. Еще! – весело покрикивал он, входя в роль.

Но по всем его ухваткам я уже разгадал, что этот плотовщик-самозванец имеет самое отдаленное представление о методах управления нашим неуклюжим судном.

Ноги скользили по мокрым бревнам. Слега глубоко уходила в песчаное дно. Наклоняясь к самой воде, я упирался в конец шеста наболевшим плечом.

Неверный шаг – и я полетел вверх тормашками, цепляясь за настил плота, чтобы не выкупаться еще раз на середине реки.

«Капитан» менял распоряжения каждые пять минут. То «слева и вперед», то «справа и назад», и так до тех пор, пока мы окончательно не выбились из сил.

Итак, за несколько часов мы продвинулись всего на полверсты. Теперь мы решили отдохнуть, предоставив течению поработать за нас.

Однако миновал срок отдыха, а плот оставался там, где стоял. Мы снова долго возились с длинными слемами. Коряга цепко держала плот. Ничего не оставалось, как только раздеться и вброд переправиться на берег.

Если бы кто-нибудь мог себе представить, как отвратительно вынужденное купание в этих широтах в начале октября!

Через час мы снова, уже наполовину измотанные борьбой с неподатливой корягой, брели лесом по высокому берегу Лупьи. Шли как можно скорей, чтобы согреться. Но в этот день было как-то особенно тяжело идти. Или, может быть, это так казалось после радостной перспективы спокойного плавания, которую мы себе рисовали, садясь на плот?

Наша обувь, кажется, была согласна с нами: путь был и ей не по силам. Сапог Канищева жадно разинул пасть. Мои ботинки, давно уже превратившиеся в белые скользкие опорки, тоже дышали на ладан, и я с трепетом следил за тем, как предательски жалобно, на манер больной лягушки, на каждом шагу хлюпала подметка. Что я буду делать, когда она отлетит? Босиком идти здесь невозможно.

Если бы еще хоть на часок перестал дождь!

Нам было уже все равно – сухи мы сами или мокры. Хотелось только подсушить багаж – хотя бы для того, чтобы он стал легче. В вате моего полупальто было не меньше полупуда воды. Сняв его на плоту, я уже больше не мог просунуть руки в рукава. Они стали тесны, словно туда напихали набухшей губки. После длительного совещания мы пришли к необходимости бросить его. Прощай, наша ночная подстилка!

К концу дня я настоял на том, чтобы и Канищев облегчил свою ношу. Нужно было идти скорее, а нас очень задерживали приборы. После настоящей ссоры мы бросили психрометр и альтиметр. Сохранили только барограф – единственный нелицеприятный свидетель того, сколько времени мы летели, на каких высотах, с какой скоростью, как управляли аэростатом.

Багаж Канищева стал более компактным. Я взял у него все, кроме шинели и барографа. На спине у толстяка остался тюк из пудовой шинели, пристроенный ремешками от брошенных приборов.

Думаю, что вид наш был очень жалок. Но настроение пока оставалось сносным.

Когда я застегнул на груди и спине Канищева сложную систему ремешков, удерживающих поклажу, он удовлетворенно крякнул.

– Вот теперь, маэстро, совсем другой табак! Хотя мою младую грудь в железо заковали, но дышится свободно и легко. Пошли?

И на ходу, помахивая сучковатой палкой, трагически продекламировал, как пускающийся в путь Несчастливцев:

Рука ль моя тебе над гробом строфы сложит,
Иль будешь ты в живых, как я сгнию в земле...

Мы шли недолго. Путь нам пересек глубокий овраг. Сползши туда на карачках, мы обнаружили на дне его неширокий, но быстрый и глубокий приток Лупьи.

Темно-коричневая вода была холодна, как лед. Судя по виду, я решил, что она должна быть очень горькой, и удивился, обнаружив, что она приятна для питья. Однако температура делала ее совершенно неприемлемой для переправы в брод. К тому же оказалось, что перейти ручей невозможно и потому, что глубина его не меньше трех аршин.

Два часа убили на устройство двухсаженного моста из нескольких тут же поваленных сосенок.

Переправившись, шли уже в сумерках. От реки поднимался пронизывающий туман.

Стогов, которые мы втайне надеялись опять найти на отмелях, больше не было видно.

В потемках я провалился в кучу хвороста и, когда выбирался, увидел, что стою в десяти шагах от темного силуэта крошечной, почти игрушечной избушки. Ей не хватало только курьих ножек – точь-в-точь жилище Бабы-Яги.

Среди толстых тридцатиметровых сосен и елок спрятался дочерна прокопченный сруб охотничьего зимовья. Вместо крыши на жердины был набросан лапник, пересохший до того, что при малейшем прикосновении не только к нему самому, но даже к стенам избушки на нас сыпался дождь иголок. Щит, заменявший дверь, развалился и выпал из колоды.

Осветив нутро избы лучом ручного фонаря, я вполз в полторааршинное отверстие. Мне представилось нечто до такой степени черное, что далеко не сразу глаз мог различить контуры предметов и даже самой постройки. Потолок, стены, очаг – решительно все было покрыто плотным слоем маслянистой копоти.

Здесь было черно до фантастичности – наверное, как в камере фотоаппарата.

Посредине зимовья стоял небольшой, грубо сложенный очаг. Дым мог выходить только в дверь. Земляной пол до самого порога был залит гнилою водой, черной, как деготь.

Долго я присматривался, пока увидел, что тут не все черно: были и светлые пятна – грибы в углах избы и на переводинах потолка.

Много времени у нас ушло на то, чтобы устроить постель из валежника, прикрытого еловым лапником. Но зато ложе получилось поистине королевское.

Кроме того, решили сегодня как следует просушиться и потому запасли топлива для очага.

Пламя бойко побежало по шипящим веточкам ельника, белый дым веселыми клубами взлетел к потолку и, скопившись там кудрявой сизой подушкой, нехотя потянулся к двери. Сделалось теплей. Мы принялись за ужин: по одному кусочку раскрошившегося печенья на человека.

– Смотрите-ка, маэстро, – мрачно проговорил Канищев, бережно держа в пальцах, уже совершенно черных от прикосновения к окружающим предметам, последний кусочек печенья величиною в почтовую марку, – как странно: даже в бликах огня все черное не делается светлей... Хоть бы покраснело, что ли!.. Право, как душа грешника или... могила! – Он повел плечами и насупился: – «Тебя, о смерть, тебя зову я, утомленный...»

– Нет, – прервал я его решительно, – это мне не нравится.

– Не нравится? – Канищев посмотрел на меня удивленно, словно я сказал что-то очень несуразное. Потом поднял взгляд к черному, как адская бездна, потолку.

Ничто не может помешать слиянью
Двух сродных душ. Любовь не есть любовь,
Коль поддается чуждому влиянью,
Коль от разлуки остывает кровь...

Запомняв продолжение, он было потянулся к своему мешку, где был спрятан сафьяновый томик Шекспира. Но, поглядев на свои черные руки, передумал и, полузакрыв глаза, сосредоточившись, продолжал на память:

Как вянуть будешь ты день ото дня, так будешь
День ото дня цвести ты в отпрыске своем...

...let those whom Nature hath hot made for store...

Кто на Земле рожден не для продленья рода,
Уродлив, груб, суров, – тот гибни без следа!

– Это обо мне – смоковнице бесплодной... – Он посмотрел на меня и рассмеялся.

В пляшущих бликах огня он смахивал на провинциального трагика, небрежно загримированного под Отелло.

Не знаю, право, был наш вид смешон или трагичен, – нам было весело. Мы предвкушали ночь, которую сможем проспять под крышей, в тепле и в полной безопасности. Даже сам Михаил Иванович Топтыгин не был нам страшен: шестивершковые стены хаты служили надежной защитой, а выход загораживался прочно заклиненным пнем.

Но с уютом приходит и особенно острое ощущение недавно перенесенных трудностей. Тело точно оттаивало и начинало нестерпимо болеть. Острее чувствовалась боль в кровотокающих руках.

– Ну-с, маэстро, вы какого мнения? – спросил Канищев, поудобнее подбирая под себя разутые ноги.

– О чем это, позвольте узнать?

– Разве это зимовье не служит указанием на то, что здесь бывал человек? А раз так – наши шансы повышаются. Позавчера – стог, сегодня – зимовье, а завтра, может статься, – деревня. Как полагаете?

– Судя по всему, в зимовье уже невесть сколько времени никто не бывал, – ответил я. – А от того, что во время оно здесь жили охотники и, может быть, придут сюда еще когда-нибудь, мне не слаще.

– Говоря откровенно, по-моему, не больше двадцати пяти шансов из ста за то, что мы встретим в этом краю людей... Попробуйте привыкнуть к мысли, что нам придется устраиваться на житье в таком вот зимовье и превращаться в лесных людей. Вон ведь сколько мы

видели здесь дичи! Глухари сами лезут в руки. А раз так, значит, мы рано или поздно научимся их ловить и получим в наше распоряжение отличное жаркое.

– Хотелось бы только получить это жаркое раньше, чем мы сами превратимся в жаркое для кого-нибудь другого, – вероятно, не очень весело ответил я. – А впрочем, утро вечера мудренее, давайте спать. Ух, черт ее возьми, какая холодная эта шинель!

– Да не будет мне брэнное ложе сие смертным одром...

Канищев выколотил трубку и теснее прижался ко мне. Не знаю, долго ли мы дремали. Вероятно, не больше получаса. Нас разбудил удушливый дым, заполнивший избушку. Сырые дрова стали так чадить, что дым клубился над нашими головами, грозя задушить. Кончилось блаженство у очага. Сухих дров не было, значит, не было и огня. Пришлось выбросить из очага последние головешки. На память о тепле нам остался только отвратительный угар. Чего доброго, утром от него и вовсе не проснешься...

Утро оказалось для нас еще более ранним, чем все предыдущие. Оставаться в промозглом помещении не было никакой возможности. Холод пронизывал до костей.

Когда мы выползли наружу, стало ясно, почему ночью нас корчило от холода так, что теперь зуб не попадал на зуб. Перед нами высились посеребренные морозом ели. Иней блестел на всем вокруг. Под нашими подошвами трава ломалась и хрустела, с веток деревьев спадали льдинки.

– А знаете, – с неожиданной бодростью воскликнул Канищев, – надо воспользоваться морозом: вероятно, рябина сегодня более приемлема!

И он принялся за рябину. Для меня этот завтрак не был новостью – я уже вторые сутки жевал горько-кислую ягоду.

Тщетно пытаюсь преодолеть судорогу, сводившую лицо в такую гримасу, что и у меня-то во рту делалось кисло, Канищев проговорил:

– Интересно бы заглянуть в меню завтрака, который поедают сегодня наши уважаемые конкуренты – Федосеенко и Ланкман.

При этих словах он аппетитно причмокнул: он был гурман.

Я знал, что, если сейчас же не отвлеку его мысли от еды, он, как чеховская Сирена, начнет фантазировать по поводу того, что заказал бы сейчас на завтрак, на обед, на ужин, и меня стошнит, как втайне от него уже стошнило однажды, когда я переел рябины.

8. Трубка мира

Два дня прошли в отчаянной борьбе с буреломом, в проклятиях дождю и взаимных попреках. Я упрекал Канищева в том, что он слишком тихо идет; он твердил, что нельзя так мчаться, когда нет надежды на иную пищу, кроме рябины и брусники. Ко всему прочему, видимо для разнообразия, на нашем пути снова встал приток Лупьи – такой же, как первый, глубокий и быстрый. Снова построили мост. Но на этот раз наша переправа уперлась в крутой и очень высокий песчаный обрыв. В самом начале подъема нам бросились в глаза большие следы на песке.

– Смотрите, друг мой Коко, здесь недавно был человек! – обрадовался Канищев. – Ясный след. Молодец-то какой здесь пер! Точно лестницу построил. А комплекция у него была основательная: ишь как промял песок!

– Да! Комплекция преосновательная, – согласился я, заметив, что каждый след лапищи кончается совершенно отчетливым рядом здоровых когтей. – Тут пер ваш тезка – Миша.

– Не хотел бы я повстречаться с ним здесь.

Одолели мы кручу откоса и на следующем роздыхе обнаружили невозместимую утрату: с ременной привязи где-то, видимо в чаще, у меня сорвало топор.

Финский нож Канищева был давно потерян. Мы остались с голыми руками. Силы убывали. Плечи ломило от ремней. Руки болели до такой степени, что с трудом держали палку. Усталость во всем теле дошла до того, что и я перестал уже нагибаться за брусникой.

Этот день стоил нам еще одной большой потери. Мы понесли ее добровольно, но от этого она была еще чувствительней и казалась нам почти преступлением: решили вскрыть барограф, сняли с барабана барограмму, а прибор бросили.

У Канищева стояли слезы на глазах:

– Ведь, по регламенту состязаний, это означает нашу дисквалификацию.

Однако вопрос стоял просто: сидеть с барографом между какими-нибудь гостеприимными стволами, пока зимою не придут люди и не найдут наши скелеты плюс барограф, или, бросив всю лишнюю ношу, все же пытаться найти жилье минус барограф? Ну, а слезы Канищева... Так он же вообще стал немного слезлив. Я уже несколько раз ловил его на том, что он украдкой утирает глаза. Правда, пока только на роздыхе.

Но в том-то и была беда, что роздыхи становились все чаще и длительней. Я мог закрывать глаза на то, что мало-помалу исчезала жизнерадостность моего спутника; я мог делать вид, будто не замечаю, как из тучного, розовощекого, любителя поострить он превращался в апатичного соглашателя, готового на все, что ни предложишь; я даже мог не особенно тревожиться по поводу того, что кожа его стала походить на измятый серый саван, который не по мерке скелету. Но я не имел права не замечать, что Канищеву просто не под силу идти. Это могло означать гибель для нас обоих. И я понимал, что если не поддержать его силы – да, говоря откровенно, и мои тоже, – где-то недалеко конец.

На привалах, ставших теперь более затяжными, чем переходы, Канищев, сидя, быстро засыпал. Он был так слаб и, вероятно, так остро нуждался в отдыхе, что однажды не проснулся, даже свалившись с пенька.

По-видимому, наступил тот крайний случай, для которого я берег обойму в своем пистолете. И, оставив спящего, я ушел. Впрочем «ушел» – это не совсем точно. Мне нужно было сделать всего лишь несколько шагов, чтобы наткнуться на дичь: большой осенний глухарь рухнул с ветки в двадцати шагах впереди меня. Я выстрелил раз, другой. Было ясно, что мои ослабевшие руки не слишком-то приспособлены для стрельбы по стремительно движущейся цели. Но азарт и обида заставили меня в третий раз нажать на спуск. Увы, третий выстрел был так же безуспешен, как первые два. Со всей доступной моим ослабевшим ногам быстротой я устремился вперед вслед за глухарем. И я его скоро увидел. А может быть, это был совсем другой? С закушенной от досады губой я прицелился и выстрелил еще два раза. Теперь у меня не было ни глухаря, ни пяти патронов, истраченных попусту. Поняв наконец, что нельзя стрелять, когда пистолет едва держится в руке, я, понунив голову, вернулся к Канищеву. Он проснулся и, очевидно, понял, что означали выстрелы: выйдя из чащи, я встретился с его жадным взглядом. Но в руках у меня не было ничего, что можно было есть, – только пистолет с двумя последними патронами.

– Оставьте их на всякий случай, – хмуро сказал Канищев. – Мало ли что...

– Медведь? – спросил я.

– Может быть, и медведь... – ответил он и отвел глаза.

К ночи мы наскоро сложили себе шалаш. Это было зыбкое сооружение из хвороста. Нам нечем было даже нарезать лапника для постели, а наломать его не хватало сил.

Разрезав лезвием бритвы крагу на стертой до крови ноге, я заснул у костра с зажатым в кулаке пистолетом. Канищев вооружился фонарем. Это оружие он считал самым надежным в случае визита медведя.

– Как засвечу в морду, будет версту бежать!

Сегодня небеса нас пожалели. Дождь прекратился. У костра, который мы по очереди поддерживали почти до утра, можно было немного обсохнуть и обогреться. После ночлега в

сене эта ночь на высоком обрыве под ясным небом, над самой рекой, темной лентой уходящей в наше неведомое будущее, была первой сносной ночью.

К рассвету мы оба уснули, и костер погас. Как всегда, проснулись от холода.

Странным было ощущение, что не хватает сил подняться с земли. Но оказалось, что дело не только в слабости: одежда крепко примерзла к валежнику, на котором мы лежали, покрылась ледяной коркой и при каждом движении лопалась, как стеклянная.

Поспешно раздули на тлевших под пеплом костра угольках огонь. Скоро отогрели закоченевшие ноги и руки. Но лицо у Канищева почему-то оставалось совсем синим – так, по крайней мере, оно выглядело под неопрятной порослью бороды.

На завтрак нет ничего. Вокруг – ни одной рябины. Только брусника в изобилии розовеет во мху между деревьями. Она еще не совсем созрела, но ничего лучшего нет. Канищев больше не острит по поводу меню. Он молча опускается на колени и, переползая от кустика к кустику, ртом срывает ягоды.

У меня кружится голова, когда я пробую нагибаться, и потому, отбросив стыд, я следую примеру Канищева: ползаю на четвереньках. Собственно говоря, это только иллюзия еды – ягоды водянисты и ничего, кроме оскомины, не вызывают. Не знаю, сколько нужно их съесть, чтобы насытиться, но чтобы вырвало, теперь их нужно совсем не так много.

И все-таки сегодня седьмой день, как мы идем, и пятый день, как не едим ничего, кроме брусники. Из попытки разделить полдневный паек на восемь дней ничего не вышло. С большим трудом его растянули на два дня. Интересно, сколько же эта машина-человек может двигаться без топлива, на одной воде? На воде и сонетах... Честное слово, интересно!..

Сегодня наша поклажа сделалась еще легче: мы лишились обеих нарзанных бутылок, утопленных Канищевым одна за другой при попытке набрать воду.

Теперь нам не в чем ее держать. Стало легче на целый килограмм, но идти от этого не лучше. Ноги двигаются почти машинально, препятствия кажутся еще труднее и непреодолимее, чем раньше.

Канищев совсем помрачнел. На очередном роздыхе, поборов сонливость, он сказал:

– Вот что, дорогой мой маэстро. Если мы сегодня не встретим жилья или просто людей, дальше я не иду. Надо попробовать раздобыть настоящую пищу. Ведь у нас есть еще два патрона. Поедим, отдохнем день-другой... а там будет видно, что делать.

Мне казалось, что он и сам не хуже меня понимает несбыточность такой мечты. В создавшихся условиях стрельба из пистолета по летящей птице – пустая трата зарядов. Осталось одно – идти. Непременно идти.

И мы шли.

Медленно, едва продвигаясь в чаше.

Шли почти без надежды увидеть людей.

Скупое посветившее солнце снова ушло за завесу нудного, мелкого дождика, и мы – в который уж раз – промокли до нитки. Но вот во второй половине дня мы повстречали один за другим несколько стогов. Эти стога были свежее того, прежнего, где мы ночевали. Вероятно, люди приходили сюда летом. На береговой отмели лежало полусопревшее, еще не собранное сено.

Да, здесь пахло человеком.

Но человека не было.

– Ого-го-го!.. Ого-го!..

Лес угрюмо молчал, возвращая нам только эхо.

Канищев присел на пень. Вид у него был уже не просто унылый, как прежде, а донельзя жалкий. Щеки висели, как грязные порожние мешки, и очки не скрывали черных впадин глазниц. Губы совсем посинели.

– Знаете что, маэстро?.. Погуляли – и будет.

– Ну, это к черту! Надо идти.

– Идите, если охота, а по мне – лучше помереть, читая хорошие стихи. Вчера я вам говорил о двадцати пяти шансах из ста на встречу с людьми, а сегодня не вижу и пяти.

Посидев на пне, он сполз на землю. Она была пропитана водой и громко чавкнула под ним. Но, казалось, Канищеву это было уже безразлично.

Некоторое время он сидел с закрытыми глазами, прислонившись к пню и закинув голову с полуоткрытым ртом. Он тяжело дышал. Но постепенно дыхание делалось ровней. Он открыл глаза, поглядел на меня и усмехнулся.

– Пожалуй, я прав, – сказал он с невеселой усмешкой. – Помирать – так с музыкой!.. А есть ли для человека звуки слаще музыки стиха?.. Ежели вы когда-нибудь захотите ею насладиться, возьмите итальянцев, только, конечно, не немцев и не англичан... Шекспира я люблю за мозги... А итальянцы хороши звучанием. Когда вернетесь, найдите у меня в шкафу Петрарку... Попробуйте почитать. Удивительно!..

– Я не знаю итальянского, – ответил я так серьезно, словно только в этом и было сейчас дело.

И в тон мне он так же серьезно продолжал:

– Не беда... Поэзия – не только музыка звучаний. Симфония стиха в лаконичности больших мыслей... Да нет, даже не в лаконичности... Одним словом, послушайте.

Он обнажил голову, и в руках у него опять появился сафьяновый томик Шекспира. Я даже не заметил, когда он успел переложить книжку в шапку. Я думал, что она осталась висеть на сосне вместе со всем, что было в брошенном мешке.

По мере того как Канищев шарил в карманах, лицо его отражало все большее беспокойство.

– А вы знаете, – сказал он печально, – ведь я потерял очки. – И еще раз ощупал карманы. – Увы... – Он протянул мне красный томик: – Откройте-ка страницу сто восьмидесятую... Нет, вероятно, между сто восьмидесятой и сто девяностой... Сонет начинается так: «Моя душа, ядро земли греховной...» Нашли?

Я нашел и продолжил:

Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной...

Но он прервал меня:

– Нет, не нужно... Это, по-моему, неверно... Там есть завет таким, как я. Его сейчас не следовало бы и вспоминать, но все же я хочу его услышать, чтобы еще раз самому себе сказать: нельзя, нельзя уходить из этого мира, не оставив себя в будущем. Любимое дело?.. Стихи?.. Даже любовь?.. Так кажется почти нам всем, а вот когда придешь к такому рубежу... Как это сказано у него:

Достойней прозвучали бы слова:
– Вы посмотрите на моих детей.
Моя былая свежесть в них жива,
В них оправданье старости моей.

И, подумав, продолжал:

– Да, вероятно, в этом подлинный смысл бытия...

Он взял у меня из рук томик и огрызком карандаша поперек первой страницы написал: «Лупья, 7 октября 1925. В последний день пути».

И возвратил мне томик:

– На память... Мне он больше не понадобится.

Он писал без очков, и надпись вышла кривая, с неровными буквами.

Я бережно завернул книжечку в то, что когда-то было носовым платком.

– Спасибо за подарок, но... он перестанет быть мне дорог, если вы не поборете своего дурного настроения... Сегодня мы переночуем здесь, завтра утром...

Вероятно, я не был очень уверен в том, что будет завтра утром. Канищеву легко удалось перебить меня:

– Набейте-ка мне трубку... Кажется, есть еще щепотка табаку. Вот уж воистину будет трубка мира... трубка умиротворения.

9. Все вернуть ты можешь многократно!

Когда я набивал трубку, взгляд мой упал на шапку Канищева, лежавшую у наших ног. В ее подкладку была воткнута игла с намотанной на нее длинной ниткой.

Идея, может быть, и несбыточная, но показавшаяся мне почти гениальной, осенила меня. Я взял эту нитку и сплел втрое, к концу прикрепил загнутую иголку. Я был совершенно уверен, что, привязав эту лесу с крючком к длинному пруту, получу удочку. Поплавок был сделан из сухой сосновой шишки. Для наживки я разжевал кусок бумаги, и со всем этим отправился к реке.

Крючок с приманкой заброшен. Удилище крепко, как самая большая и последняя драгоценность, зажато в дрожащих руках.

Вокруг нет ничего, кроме дремучего леса, брусники и медвежьих следов. Но, вероятно, именно потому, что нет никаких средств перебраться через широкую, быструю реку, она кажется мне рубежом, предательски отгораживающим нас от жилья, от людей, от жизни. Это ощущение так сильно, так реально, что я уже отчетливо вижу на другом берегу выющийся над макушками елей синеватый дымок костра или избы. Мне чудится даже, что я чувствую тепло этого дыма, слышу его милый запах.

Чтобы отделаться от галлюцинации, с досадой опускаю взгляд на поплавок.

Набираю воду в нашу единственную кружку и с трудом расправляю затекшие ноги. И тут же рука моя, держащая кружку, опускается, вода льется мне на ноги. Я готов закричать от досады. Дымок по-прежнему стоит у меня перед глазами. Только этого не хватало – бредить наяву!.. Стиснув зубы, снова наклоняюсь к воде. Но помимо воли взгляд исподтишка следит за дымком. Под ударами ветра его сине-серая струйка волнуется, трепещет, то стремительно взлетает вверх, то стелется над вершинами леса. Отворачиваюсь и лезу вверх по обрыву. Стараюсь думать только о том, чтобы не потерять удочку. Но, взобравшись наверх, я не могу совладать с собою и оглядываюсь. Дым стал еще гуще, он еще веселее навивается к небу. Я не выдерживаю и, к изумлению Канищева, бросив драгоценную удочку, складываю ладони рупором и что есть силы кричу:

– Ого-го!..

Мы не сразу в состоянии оценить все значение того, что на той стороне реки из-за кустов вышел мальчик.

Это не галлюцинация. Это самый реальный живой мальчуган лет десяти с выгоревшими до белизны вихрами волос, в белой рубахе без пояса и коротких, чуть пониже колен, полосатых портах. В этот миг не было, кажется, ничего глупее традиционного изображения ангела – в длинном хитоне, с крыльями за спиной, – но нам казалось, что так, именно так, как этот деревенский мальчик, должен выглядеть добрый ангел-хранитель из русских сказок.

Канищев приподнялся на руках и, так же как я, молча с удивлением глядел на ребенка. И воистину нет границ человеческим странностям: никто из нас не крикнул о том, что мы

голодны, что один из нас не может больше двигаться. В один голос, перебивая друг друга, мы закричали:

– Эй, мальчик! Что это за река?

– А Лупья, однако, – ответил мальчик с таким видом, словно говорил с дурачками.

И что же порадовало меня больше всего в этом ответе?..

– Ага, значит, ориентировка верна!

– А кто ты, мальчик? – вежливо спросил Канищев.

– Хрестьяне.

– Ты здесь один?

– Не.

– А с кем ты?

– С батей.

– Позови батю.

Мальчик подумал, повернулся и не спеша ушел в лес.

Долго ждем, никто не появляется. Закрадывается страх: не ушел ли паренек совсем? Время идет, страх переходит в настоящее отчаяние. Мы принимаемся звать что есть силы. Но на крики никто не выходит.

Наконец, когда мы совсем осипли, появляется тот же мальчик.

– Цаво?

– Батю, батю-то позови!

Парень нехотя оборачивается и кричит:

– Тять, а тять!.. Однако беглые клищут.

Вышел мужчина в серой домотканой одежде, с топором у пояса. Начался опасливый допрос.

Переговоры кажутся нам нескончаемо долгими. Лесоруб хочет знать о нас все: кто, откуда, зачем, есть ли оружие. Он полон недоверия и опасений. Видно, жизнь в этих далеких лесах не обеспечивает от неприятных встреч. Наконец нам удается убедить его в том, что мы не убежали из лагеря, не имеем никаких дурных намерений, только и мечтаем о том, чтобы поскорее найти каких-нибудь представителей власти. Еще поразмыслив, лесоруб наконец вытаскивает из-за пояса топор и принимается за дело. Одна за другой падают под звенящими ударами елки. Вихрастый паренек проворно освобождает их от ветвей, и через какой-нибудь час готов плот, а еще через полчаса мы сидим на том берегу возле костра Павла Тимофеевича Серавина, крестьянина деревни Ржаницинской. Он пришел сюда накануне косить. Пришел косить? Значит, деревня рядом?.. Ну конечно, рукой подать!

– Двенадцать верст напрямки будя.

– А если идти рекой, берегом, как мы шли? – интересуется Канищев.

Серавин подумал.

– Суток, однако, на двое пути хватит.

Канищев качает головой: ему ни за что не дойти.

Павел Тимофеевич говорит много и быстро, но понимаю я мало: путают ухо «ч» вместо «ц», а «ц» вместо «ч». Пока над костром сушится обувь, Канищев спрашивает Серавина и посвящает меня в историю этих краев:

– Это – самый чистый русский народ, какой, вероятно, у нас сохранился, – говорит он уверенно. – Заметьте, здесь никогда не было крепостного права. Полная самостоятельность и независимость всегда отличали этот край. Теперешняя Северо-Двинская губерния, а прежде Вологодская, сохранила черты оригинальной северной культуры.

Все это произносится так, словно договориться именно об этом сейчас важнее всего; словно это кто-то другой, а не он, Канищев, восемь суток ничего не ел, не он собирался умирать на последнем привале.

– Это вы верно, – прислушавшись, отозвался Серавин, – крепостного права здесь не бывало. Однако вот прежде по всей Выцегде сидели Строганы. Их места были. Строганы да монахи... Тут скитов – что деревьев. Но мы все одно, однако, были вольными, – с гордостью добавил он.

Серавин-отец просушил у костра намокшие онучи и стал обуваться. Глядя на него, начал обуваться и мальчик. Они делали это рачительно, крепко заматывая онучи и обвязывая ремешками от поршней. Потом Серавин оглядел нашу обувь, ничего не сказал, но по тому, как он покачивал головой и цокал языком, можно было судить о недоверии, какое внушали ему наши опорки.

Подумав, он велел сыну вырубить четыре длинных жердины. Назначение их оставалось для нас загадочным до самого того момента, как Серавин построил нас в походный порядок. Первым шел он сам с довольно тяжелой жердиной, которую держал в руках поперек пути, как канатоходцы держат свои балансирные палки. Вторая жердина – поменьше – была дана мальчику для той же цели. Остальные две служили как бы своеобразными перилами, тянувшимися от отца к сыну по правую и левую сторону от нас, грешных. Серавины – большой и малый – укрепили эти поручни у себя под мышками таким образом, что Канищев как бы повис на них. Я сделал было попытку занять последнее место в процессии, но Серавину не пришлось тратить много слов, чтобы убедить меня в том, что и мне, хотя я чувствую себя гораздо бодрее Канищева, лучше держаться возле поручней. Для убедительности Серавину было достаточно показать мне открывшуюся за ближайшими деревьями переправу через широчайшее болото: брошенные безо всякой крепи жердины, где две рядом, а где и в один ряд. Я понял, что пробалансировать по такому «мосту» будет не легко.

Мы пошли. Отец ловко скользил мягкими поршнями по жердям, за ним, едва передвигая ноги и всю тяжестью повиснув на «поручнях», плелся Канищев.

Скоро я увидел, что за осокой, куда уходил конец того, что я принял за переправу, открывается новое болото, за ним третье – и так без конца-краю, без перемычек суши.

– Велико ли болото-то? – спросил я.

– Да верст с десяток будя, – спокойно ответил Серавин.

Я со страхом подумал о том, как-то пройдут эти десять верст наши спасители, почти неся Канищева.

– А всего до деревни? – спросил я опять.

– Чельных двенадцать, – как ни в чем не бывало бросил замыкавший шествие мальчуган.

Его отец передвигал ноги, не отрывая их от жердей. Я пробовал делать так же, но каблуки то и дело соскальзывали с круглых тонких жердин, к тому же подчас влажных или обомшелых. Колени у меня дрожали от напряжения, и остатки рубахи на спине взмокли от пота. Временами казалось, что я изнемогаю. Не лучше ли признаться в своем бессилии, сесть на жердь и – будь, что будет? Но сзади меня слышалось ровное дыхание мальчугана. Мне было мучительно стыдно. Я глотал слезы и, подавляя готовое вырваться рыдание, заставлял израненные, дрожащие, как у старика, ноги двигаться – делать шаг, еще и еще...

Вероятно, это было очень трудно, потому что к концу пути я не очень хорошо понимал, что происходит вокруг, и пришел в себя уже на твердой земле, возле избы, услышав хриплую жалобу Канищева:

– Ну и версты же у вас, Павел Тимофеевич!

– Версты – они у нас не меряны. Так ведь, по ходу считаем. Может статья, и гаку маненько есть.

– Да на двенадцать-то верст гаку не меньше шести.

– Может, однако, статья.

...Но наконец мы в просторной, светлой избе. Жилье во втором этаже высокого дома. Внизу – кладовые. Хозяйка, куча ребят, недоуменно глазающих на нас из-за печки, на всем следы домовитой опрятности, того особенного, крестьянского довольства, которое происходит не от избытка, а от бережливости.

Сбросили опорки и лохмотья и сдали хозяйке – сушиться, чиниться. Скоро на столе шумел самовар, и сковородка глядела на нас с шестка большими желтыми очами шипящих яиц.

Много рассказывал нам хозяин о том, как живет здесь народ. Не легко дается хлеб человеку. Мало земли. Кругом леса да болота. Сено везут за десятки верст. Зимой идут на лесозаготовки Северолеса. Получают по полтиннику с пятивершкового ствола – с валкой, вывозкой и разделкой на берегу. А за сплочение и сплав – еще по двугривенному. В зиму выходит по двести стволов с человека. Рублей полтора. Харч свой. Жилье тоже свое. Вот в таких зимовьях, какое попало нам, и живут.

– Почему же вы не строите в зимовьях настоящих печей, с трубами? – интересуется Канищев. – Ведь дым может просто задушить.

– А простая печька нам не годицца. Мало тепла от нее. День-деньской по пояс в снегу, а весной во льду вороцаешься. К вечеру, как придешь, тела не цуешь. У печи простой и просохнуть невозможно. А такой вот оцаг, как у нас, жару дает много больше. Ну, Миколай Миколаиц, цайку-то есцо стаканчик?

И хозяин цедит мне из самовара, кажется, десятый стакан.

Изба набивается полным-полнешенька. В деревне всего восемь дворов, но народу в них не меньше сотни. Мужики – народ все здоровый, степенный.

Разговор ведется серьезный. Расспросы больше о том зачем мы летали да как. Зачем сели в таком медвежьем углу? Удивление общее, что выбрались целы из лесу. Край кишмя кишит, по словам крестьян, медведями.

Еще не так давно грамотными здесь были только те, кто возвращался с военной службы. Зато тут все, большие и малые, знают компас.

– Во, буссоль-то у вас была, это ладно, – говорит большой бородатый мужчина. – А то бы ни в жисть не выйти вам из лесу.

– А вы давно знаете компас?

– Как себя помним. У нашей артели свой. Старый вот только, деревянный еще. От дедов достался. А без него нельзя.

Газета бывает здесь иногда у хозяйского брата, Зотея Тимофеича.

Ночью простились с хозяевами и в лодке отправились на другую сторону Вычегды, в Сойгу, ждать парохода.

– А когда он здесь ходит? – спросили мы у хозяина.

– Тоцно сказать затруднительно. Вот нынче прошел, к примеру, тот, цто должен был идти третьеводнись. Мозет, завтра пойдет, а мозет, и через неделю. Да там, в Сойге, подоздете. Там у Якова Ивановича дом не хузе других. И харц он вам предоставит.

Действительно, дом у этого Якова Ивановича оказался преотличный. Мы жили у него четыре дня до парохода. Отсюда же и депешу отправили в Москву – с нарочным на телеграф, за пятнадцать северо-двинских верст.

А потом поплыли по Вычегде на стареньком, скрипучем пароходике. На палубе громоздились зыряне с остроносими лайками – на Урал за охотой. А в буфете первого класса, куда нас, оборванных и грязных, пустили с явной опаской, заразительно вкусно дымилось в стаканах кофе и разносился запах ветчины, поджаренной с луком.

...Разноцветное поле карты-десятиверстки безобидно глядело на нас зелеными узорами лесов. Все на ней было так просто, ясно и мирно. Моя курсовая черта уверенной черной стрелой упиралась в излучину Лупьи. Всего каких-нибудь пять дюймов, не больше, отделяли место нашей посадки от жилья.

И на этих-то пяти дюймах мы восемь суток боролись с лесными завалами?

Чудно и даже немного стыдно. А впрочем, плохо подсыхающие ссадины рук и гноящаяся рана на ноге говорят о том, что прогулка была нелегкой.

Но дело не в ссадинах. Даже не в пяти предательских дюймах карты, отделявших нас от жизни. Больше всего занимает вопрос: где остальные участники состязаний? Кто пролетел дальше всех? Ох, скорей бы добраться к газетам!

...И вот мы в Москве. Полета нам не засчитали, хотя наш шар прошел немного большее расстояние, чем шар Федосеенко и Ланкмана. По регламенту состязаний, барограф должен был быть представлен жюри в запечатанном виде, а ведь мы принесли только вынутую из прибора барограмму, Поэтому победителями все же признаны Федосеенко и Ланкман. Вполне справедливо, но очень обидно и немножко стыдно. Неужели так-таки и нельзя было не бросить барограф?

– Это вы виноваты, маэстро, – не очень уверенно попрекнул меня Канищев. – Если бы не так обо мне заботились, не бросили бы прибор...

Но сейчас же, чтобы загладить этот выпад, он взял меня под руку.

Мы вянем быстро – так же, как растем,
Растем в потомках, в новом урожае...

И тут я достал из кармана и отдал ему сафьяновый томик Шекспира. Это не тот, это мой, но он почти так же хорош, как подаренный мне на берегу Лупьи.

А тот, заветный, на переплете которого остались следы болотной воды и в алый сафьян которого въелась жирная копоть костров? Вот уже тридцать лет стоит он в моем шкафу за стеклом, хранится так, как если бы надпись на первом его листке сделал сам Шекспир. Ведь он был вместе с нами! Да, да, что бы мне ни говорили – он был с нами. Разве это не он мок в болотах, коптился у костров, ел бруснику? И потому никогда не расстанусь я с этой книжечкой. Она как красный камень на дороге моей жизни, камень, у которого я и свернул сюда, в литературу...

Село Медвежье на Вычегде – Москва, 1926

Последний «медвежатник»

Примерно через полгода после того, как увидел свет маленький сборник «Искатели истины», где описывалось несколько эпизодов из следственно-розыскной и криминалистической деятельности Нила Платоновича Кручинина и его молодого друга Сурена Тиграновича Грачьяна, автором этих строк было получено следующее письмо:

«Уважаемый товарищ!

Прочел «Искателей истины». Насколько мне не изменяет память, там все на месте: эти частные случаи описаны именно так, как происходили.

Тем не менее считаю себя вправе просить Вас о некотором исправлении в общей постановке вопроса. По-моему, всю огромность принципиальной разницы в деле борьбы с преступностью в буржуазном обществе и у нас необходимо показать читателю не только в декларациях от автора или в высказываниях действующих лиц. Нужно рассказать нашим людям и о том, как обстояло это дело во времена царизма и как обстоит теперь: обнажить разницу в самом существе преступности, в ее распространении и формах существования. Преступность как наследие прошлого существует. Воспитательная работа нашего общества еще далеко не достигла того, чтобы сделать ненужным ни наказание, ни профилактику преступления.

Поэтому я позволю себе приложить к сему список нескольких интересных «дел». В этом списке особняком стоит «Дело Паршина». На него стоит обратить внимание не только потому, что оно интересно с розыскной точки зрения. На его примере можно показать широкому кругу наших молодых людей, что было и чего больше не может быть. Преступность пышным букетом расцвела в былые времена потому, что само правосознание буржуазии способствовало этому развитию. Ведь и хищническая деятельность буржуазии была не чем иным, как преступлением. Вы, конечно, помните мысль Энгельса о том, что если один человек наносит другому физический вред, и такой вред, который влечет за собою смерть потерпевшего, то мы называем это убийством, а если убийца заранее знал, что вред этот будет смертельным, то мы называем его действие умышленным убийством. Если же общество ставит сотни пролетариев в такое положение, при котором они неизбежно обречены на преждевременную неестественную смерть, на смерть столь же насильственную, как смерть от меча или пули, если общество само знает, что тысячи должны пасть жертвой таких условий и все же этих условий не устраняет, то это еще более страшное убийство, чем убийство отдельного лица, – это убийство скрытое, коварное, от которого никто оградить себя не может, которое не похоже на обычное убийство только потому, что не виден убийца.

У некоторых наших писателей существует манера представлять дело так, будто уже само буржуазное правотворчество, являющееся зеркалом буржуазного правосознания, не содержит в себе норм, ограничивающих преступления против небуржуазных классов, против пролетариата в целом и против отдельных его представителей. Послушайте меня, не становитесь на такую точку зрения. Ее поборники идут по линии наименьшего сопротивления, они пренебрегают фактами, отбрасывают, как якобы несуществующее, то, что им неудобно в буржуазном праве. Это делается

вместо того, чтобы с фактами в руках доказать нечто гораздо худшее – что само же буржуазное общество, в лице своих органов расследования и суда, открыто идет на нарушение, вернее говоря, на обход писанных лицемерных норм существования, не обязательных для самой буржуазии.

Для главарей гангстеризма закон о наказуемости грабежа и убийства оказывается в такой же мере обходимым рифом, как для главарей официального монополистического капитала какой-нибудь антитрестовский закон.

Такое положение не успело создаться в дореволюционной России. В ней исполнительная власть не успела поставить знак равенства между воротилами банков и главарями крупных грабительских шаек. Тем не менее питательная среда для широкой деятельности искателей легкой наживы всех планов и масштабов существовала. Ее создавали не только сами условия капитализма, но и продажность полицейского аппарата империи. С тех пор утекло много воды. Жизнь профессионального правонарушителя царских времен не стоит даже сравнивать с условиями его существования в СССР – настолько сузился «круг деятельности» этих рыцарей ночи.

Теперь преступник-«профессионал» – у нас явление гораздо более редкое. А есть преступные «специальности», почти вовсе вымершие. Одной из таких специальностей является «медвежатничество», то есть вскрытие несгораемых касс и сейфов.

В заключение смею Вас просить исключить мое имя из всего, что будете в дальнейшем писать. Сожалею, что уже нельзя этого сделать с отчетами, которые Вы успели опубликовать. Но дальше – не нужно. В нашей среде есть много товарищей, гораздо более сведущих и талантливых, нежели Ваш покорный слуга. В их деятельности Вы найдете примеры куда более интересной борьбы с преступностью, борьбы за твердый советский правопорядок, за чистоту нашего общества.

Примите мой самый дружеский привет.

Полковник Н. Кручинин».

К письму Н. Кручинина был приложен перечень двадцати дел, представлявших ему достойными внимания. Первое же ознакомление с некоторыми из них показало, что тот, кто занялся бы их восстановлением и обработкой, не заслужил бы ничего, кроме признательности читателей.

Материал «Дело Паршина» оказался действительно увлекательным, несмотря на всю свою невероятную хаотичность – ни системы, ни даже хронологии.

Работа оказалась трудной еще и потому, что «дело» уходило своими корнями в далекие времена и, чтобы показать работу над ним советских оперативников, пришлось заглянуть в уголовное подполье Российской империи. Это сломало хронологическую четкость повествования, и автор должен просить у читателей прощения за некоторую конструктивную сложность настоящего отчета. Зато в деле о «медвежатнике» не осталось ни одной незаполненной строчки, ни одного неосвещенного уголка.

Автор приносит Нилу Платоновичу Кручинину извинения по поводу того, что не последовал его просьбе снять его имя. Правда жизни остается правдой. Строго следуя ей во всем, что написано дальше, автор не счел нужным подменять и имена действующих лиц.

Глава первая

Курьерский Петербург – Москва

– Ну, Колюшка, мне пора, – сказал Федор Иванович, защелкнул крышку золотых часов и опустил их в жилетный карман.

Слова Федора Ивановича были обращены к сидящему рядом с ним на диване сыну – гимназисту лет пятнадцати, влюбленно-восторженными глазами глядящему на отца.

Федор Иванович поднялся и истово перекрестил сына.

– Христос с тобой... Будь умником.

Мальчик взял в обе свои маленькие руки пухлую, короткопалую руку отца и звонко поцеловал ее.

– За хозяина остаешься, – и Федор Иванович неторопливо обвел рукою вокруг себя.

Извозчик вез Федора Ивановича Вершинина с Восьмой линии Васильевского острова на Николаевский вокзал. В ногах извозчика лежал небольшой чемодан желтой кожи, сам же Федор Иванович, откинувшись на спинку сиденья и поставив между ногами трость с большой рукоятью из слоновой кости, поглядывал на панели.

Взгляд его особенно внимательно останавливался на женских фигурах, и при этом широкое, по-модному бритое лицо Федора Ивановича сохраняло самое серьезное выражение. Никто не угадал бы игривых мыслей этого сорокалетнего мужчины в шубе с воротником и отворотами из великолепного барашка. На голове Федора Ивановича красовался новенький котелок, подчеркивавший солидность всей его фигуры.

Справа Нева дышала еще холодом нескрывшегося льда, а копыта лошади уже месили весеннюю хлябь грязного снега. Федор Иванович подставил лицо дувшему с реки колючему ветру. Он ничего не имел против этого пронзительного питерского ветра. Вообще, он любил в этом городе все. Москва?... Нет, Москвы он не любил и ездил в нее только по необходимости. Там было поле его деятельности. Там дни были наполнены только суетой и страхом. В Москве им неотступно владела боязнь сорваться, сделать ложный шаг. Тогда полетит в тартарары все, что есть у него здесь, в Питере, и там, в недавно купленной тверской усадьбе «Скворешники». Эта усадьба была венцом его мечтаний. Но пока еще даже в этом новом для него гнезде Федор Иванович не чувствовал покоя. Даже там он постоянно находился во власти страха и неверия в реальность происходящего. Он твердо решил, что для того мира, в котором он вращался в Москве, «Скворешники» будут такой же тайной, какою был сын Колюшка.

Пролетка взобралась на крутой подъем разводной части Николаевского моста и поравнялась со стоящей на ее развилине часовней Николая-угодника. Федор Иванович отвел взгляд от реки и, обернувшись к освещенному большому зеркальному стеклу часовенки, левой рукой чуть приподнял котелок, а правой сделал несколько быстрых, мелких крестиков, незаметных со стороны.

Эта многолетняя привычка означала у него как бы прощание с Петербургом. Ежели ему доводилось уезжать, не миновав часовенки, Федор Иванович чувствовал себя так, словно лишился благословения чудотворца – покровителя странствующих. А Федор Иванович был суеверен. Он не любил начинать дело, не перекрестясь. Его наблюдения говорили: всякий раз, когда он покидал родной город, не переглянувшись со святым Николаем, дело у него либо вовсе срывалось, либо кончалось не так, как он того хотел.

На Невском, возле Екатерининского канала, Федор Иванович прикоснулся тростью к спине извозчика, и тот послушно остановился.

– Подождешь, – барственно бросил Федор Иванович извозчику и перешел на правую сторону проспекта. Там, в маленькой кондитерской, над скромной дверью которой было золотыми буквами выведено по-французски единственное слово «Рабон», Федор Иванович выбрал нарядную коробку и приказал наполнить ее глазированными каштанами. Эти каштаны – специальность французского кондитера – тоже были для Федора Ивановича чем-то вроде благоговения Николы-угодника. Без них он не любил приезжать в Москву. Такова была многолетняя традиция, установившаяся в его отношениях с живущей в Москве младшей сестрой Катей.

Когда у вокзальной лестницы носильщик, подхватив чемодан, потянулся к пакету с каштанами, Федор Иванович подал ему его с тем же самым наставлением, какое неизменно делал всякий раз у этих ступеней: с пакетом следовало-де обращаться с осторожностью!

Федор Иванович не любил брать билет на городской станции. Сдав вещи носильщику, он всегда сам подходил к кассе. По курьерскому поезду, которым ехал Федор Иванович, и по всему его виду с уверенностью можно было сказать, что едет он не иначе как до самой Москвы. Не в Бологом же, в самом деле, сойдет человек в эдакой отличной шубе, держащий под мышкой великолепную трость, человек, который так ловко, не стягивая с руки перчатки, вынимает из портмоне шестнадцать рублей за билет!.. Все это было так. Но всякий раз Федор Иванович сам наклонялся к окошечку кассы и доверительно, так, чтобы его мог слышать только кассир, требовал себе билет первого класса до Москвы, притом непременно с нижней плацкартой.

В вагоне Федор Иванович осваивался быстро. Совершив два-три конца по коридору и перекинувшись несколькими словами с проводником, он уже в точности знал, кто в каком купе едет, и в зависимости от этого завязывал интересующие его знакомства. Из этих знакомств он решительно никогда не извлекал какой-либо заметной для других пользы: он даже, как правило, не принимал участия в роббере винта, который сам же организовал. Быстро и умело пере-знакомив между собою пассажиров, едущих в двух соседних купе, он с уверенностью железнодорожного завсегдага растворял разгораживающую эти купе складную дверь-переборку.

Самое большее, что он себе позволял в разгар роббера, – подсесть к кому-либо из игроков и дать несколько безошибочных советов или с видом знатока покритиковать неудачный ход.

– Помилуйте, сударь мой, – солидным баритоном говаривал в таких случаях Федор Иванович, – кто же это при полном ренонсе в пиках да при такой коронке объявляет малый шлем? И себя, и партнера подводите. Если уж у меня на руках...

И Федор Иванович обстоятельно объяснял, как бы он поступил на месте игрока. Объяснение бывало дельным и поднимало авторитет Федора Ивановича в глазах игроков.

Располагаясь на этот раз на бархатном диване вагона, Федор Иванович вспомнил, как он уезжал из Питера, ехал в поезде и приезжал в Москву последние разы. Бог даст и теперь Первопрестольная встретит его суетой белых передников, сочным свистком толстого обер-а и бесконечной вереницей веселых московских «ванек». Бог даст... Но... мало ли что может случиться за шестнадцать часов пути? Все в руке Божьей!.. Пока, правда, все шло преотлично: разведка произведена, знакомства завязаны, выбор сделан, и, что греха таить, выбор, кажется, неплохой.

Традиционный винт организован, и винтеры до сих пор разыгрывают неподатливый роббер уже без советов Федора Ивановича. Сам же организатор винта, уединившись в своем купе с приятным попутчиком, ведет неторопливую беседу о том, о сем.

Попутчик его, крупный мужчина в несколько старомодном черном сюртуке, шелковые лацканы которого до самого живота скрыты за окладистой седой бородой, говорит не спеша, негромким густым баском с хрипотцой. Уже в самом баске этом чувствуется, что человек знает цену себе и каждому своему слову.

– Нет уж, государь мой, – мягко перебил его Федор Иванович, ласково прикоснувшись кончиками пальцев к коленке собеседника, – тут вы меня не убедите: никогда московскому

воспитанию не достичь петербургского уровня. В Питере, скажу я вам, самый воздух действует, так сказать, воспитующе.

– Однако же, – пробасил старик, – ежели имение ваше, как изволите говорить, в Тверской губернии, то и тяга ваша должна быть к нашей Белокаменной.

– Когда мне, не в качестве отставного коллежского советника, а как тверскому помещику, – Федор Иванович с особенным удовольствием произнес это слово, – приходится подумывать о брэнной стороне существования, сознаюсь: тоже забываю и дворянство, и чины – и, – Федор Иванович округло взмахнул, – к вам, на Никольскую, на Ильинку...

– А по какой части в Москве дела ведете?

– Да разные, знаете ли. Вот теперь хочу маслобойный завод ставить, а то до сих пор лентяюшка гнал меня к вашим толстосумам.

– Лен, говорите? – старик покрутил бороду. – Как же это вы моих рук-то миновали?

– А, простите, с кем имею честь?

Старик с усмешкой назвал одну из самых известных мануфактурных фамилий России. Выяснилось, что едет он из Пскова, где запродавал партию белого товара. При этом сообщении старик машинально притронулся концами пальцев к груди, где сюртук его заметно оттопыривался.

Заметив проходящего по коридору проводника, Федор Иванович приказал стелить. Собеседники вышли в коридор, и приятное знакомство закончилось на том, что мануфактурщик положил себе в карман визитную карточку Федора Ивановича.

Проводник вышел из купе.

– Постелька готова-с.

Попутчики распрощались, и мануфактурист важно удалился на свое место.

Утром, перед Москвой, Федор Иванович вставал обычно одним из первых, чтобы не пропустить пирожки с вязигой, преотменно готовившиеся в клинском буфете.

В Москве до Боярского двора Федор Иванович заехал к сестре Кате. Вместе с каштанами он вручил ей для сбережения небольшой пакет, плотно увязанный шпагатом. Что в пакете, он не сказал и знал, что, по установившемуся между ними безмолвному уговору, сестра любопытствовать не станет. Что касается мануфактуриста, то лишь в середине дня, выкинув на конторку толстый бумажник и приказав сыну сдать артельщику его содержимое, он узнал, что пухлый бумажник набит плотными пачками чистой бумаги, в которых лишь верхние листки были настоящими «петрами» и «катюшами».

Уже в Боярском дворе, в гостиничной парикмахерской, когда мастер нежно водил по щекам Федора Ивановича бритвой, то и дело заботливо осведомляясь «не тревожит ли», тому пришло вдруг в голову, что, может быть, именно сейчас вот, в эту самую минуту, обворованный купец раскрыл бумажник и начинает перебирать в уме все подробности своего путешествия. Он представлял себе, как купец думает, думает, трет морщинистый лоб, теребит седую бороду и час за часом, минуту за минутой вспоминает поездку, вспоминает его, «коллежского советника» и помещика Вершинина...

Тут полные щеки Федора Ивановича начали вздрагивать так, что мастер в испуге отвел бритву. Федор Иванович растерянно пробормотал что-то о нервах.

Страх делал его память такой острой, что он в точности восстанавливал теперь каждый свой шаг в вагоне, каждое слово.

Вспомнив, что он вручил мануфактуристу визитную карточку, Федор Иванович почувствовал, как у него холодеют колени. Но тут же он себя успокоил: эта карточка его еще никогда не подводила. Купец допустит все, что угодно, кроме того, что вор мог вручить ему свою карточку с адресом. Такого еще не бывало. Нет, нет, никогда не бывало!

А все-таки, может быть, на будущее время воздержаться от этих карточек? Чем черт не шутит?..

Федор Иванович закрыл глаза и откинулся в кресле.

– Кажется, унялось... можно бриться.

Ласковые прикосновения парикмахера мало-помалу привели в порядок расхолодившиеся нервы.

– Позвольте тройной, брокер, цветочный, кельнский?.. – Под укоризненным взглядом клиента мастер смущенно пробормотал: – Виноват, запомнил-с...

Федор Иванович никогда не употреблял одеколона после бритья. Он слишком любил гладкую розовую кожу на округлых своих щеках, чтобы портить ее одеколоном. Только чистая холодная вода способствует сохранению свежести.

С кресла Федор Иванович поднялся чуть-чуть утомленный воспоминанием об украденных деньгах. Но он знал, что это быстро пройдет. Состояние не было для него новым, повторялось почти после каждого «дела». Особенно ежели перед тем бывал длительный перерыв в работе.

Федор Иванович велел прыснуть на себя духами «Кожа испанки». Он их очень любил, но пользоваться ими позволял себе только в Москве, на работе. Дав мастеру гривенник на чай, он уже в отличном настроении поднялся в номер.

Номер был невелик и скромн. Федор Иванович не любил попусту бросать деньги. Считал, что уже самого того факта, что он живет в Боярском дворе, как прикрытия, совершенно достаточно. Пускать пыль в глаза ценою номера нет надобности. Ежели же, не дай бог, что-нибудь случится, то не все ли равно, в каком номере – в большом или маленьком?

Опустившись в кресло возле телефона, Федор Иванович некоторое время в задумчивости ногтем сбивал зацепившиеся за рукав волоски, ускользнувшие от щетки швейцара парикмахерской. Потом позвонил и приказал подать список городских телефонов.

«Гусар смерти»

Том был мальчик хоть куда,
И служил он в чайном магазине...

Роман Романович щелкнул пальцами и, притопывая носком лакированного сапога с кокардой у коленки, грассируя, пропел еще одну строку из запомнившейся новой песенки. Он впервые слышал вчера Изу Кремер. Понравилось.

Р-ра-а-зносил покупки по домам в корзине...

Он прервал себя на полутакте и приотворил дверь. Совсем другим, зычным голосом, в котором чувствовалось умение командовать, крикнул:

– Степан, черт тебя подери!

– Бегу-с.

Коридорный вбежал в номер и с ходу подал черную венгерку.

– Ни пушинки-с! – угодливо сказал он и, лизнув себе ладонь, провел ею по спине Романа Романовича.

Венгерка сидела складно, обрисовывая сухую фигуру Романа Романовича. Кабы шнуры на груди были не черными, а серебряными да на плечах были погоны Александрийского гусара!.. Не случайно же на визитных карточках Романа Романовича Грабовского мелким

шрифтиком внизу было набрано: «Корнет в отставке». И без этого всякий с первого взгляда опознал бы в нем бывшего кавалериста, не имеющего сил расстаться с родной венгеркой.

Впрочем, дело было не только в любви к мундиру. Роману Романовичу давным-давно пришлось снять его из-за некрасивой истории с пропажей денег у товарища по полку. Куда большую роль в его приверженности к подобию военной формы играло то, что это одеяние, сразу изобличавшее в нем бывшего гусара, служило неплохой маской. Она не раз отводила от Романа Романовича руку наружной полиции. А профессия Романа Романовича требовала в этом смысле особой предусмотрительности. Он давно был своим человеком в компании самых отчаянных московских аферистов – кукольников и банковских воров. Немало денег перекечало через руки Романа Романовича из портфелей незадачливых купцов и артельщиков в кассы тотализатора и в бездонные карманы цыганок Петровского парка. Все знали там бесшабашного гусара, пропивающего наследство какой-то саратовской бабушки.

Нынче Роман Романович был в отличном расположении духа. Всего два дня, как удалось наколоть отменное дельце: в конторе Волжско-Камского банка судьба подарила ему ни много ни мало шесть тысяч рубликов. Дело было так.

Тщательной разведкой было установлено, что одному зарядинскому канатчику, поставившему веревки чуть ли не всем парходам, предстояло получить в банке значительную сумму для расплаты с мелкими поставщиками пеньки. Этот канатчик был избран ворами по следующим соображениям: Грабовскому удалось познакомиться с ним на бегах. Туда часто езживал купец. Грабовский сблизился с ним, подав несколько удачных советов по части тотализатора. Дальнейший контакт поддерживался тем, что каждый божий день – надо, не надо – Грабовский стал захаживать в трактир Егорова, что в Охотном ряду, и есть там блины и рыбу, которыми славился трактир. Делал это Роман Романович только ради того, чтобы держать под наблюдением канатчика – завсегдатая этого трактира. Грабовский установил, что купец ходил в банк один. Это было удобно во всех отношениях. Способ, по которому работал Грабовский со своим помощником, сводился к мгновенному отвлечению внимания получателя денег от его портфеля. Тогда этот портфель подменялся точно таким же, заранее изготовленным и набитым чистой бумагой.

План был разработан во всех деталях. Все привычки и повадки купца были учтены. Порядки Волжско-Камского банка давно известны. Оставалось одно: изготовить копию портфеля, с каким канатчик ходит за деньгами. И вот тут-то план мошенника едва не уперся в тупик: оказалось, что ежели денег к получению предстоит немного, купец попросту набивает деньги в карманы, ежели же сумма велика, то кладет их в дедовский кошель, сшитый из прочной, чуть ли не подошвенной, кожи и по виду смахивающий на переметную сумочку Ильи Муромца. Об эту-то сумочку и споткнулись было намерения Грабовского. Где взять ее копию? А копия должна быть точной, иначе подмена будет сразу обнаружена.

С таким казусом Грабовский столкнулся впервые. До сих пор ему доводилось иметь дело с покупными портфелями. Сколь бы они ни были разнообразны – всегда удавалось найти копию. В крайнем случае требовалось только подогнать цвет.

Так что же – отказаться от плана? Нет, на это Грабовский не пойдет. Слишком много времени было убито на канатчика. Слишком много денег просажено с ним на бегах и проедено на блины с балыками.

Начинать новую разведку – за новой жертвой – не было времени. Грабовский уже сидел без гроша. И он решил: пан или пропал! Либо окончательно провалит дело, либо добудет копию сумки. Хотя бы на одну ночь, хоть на несколько часов, но висевшая на гвозде в лабазе канатчика сумка должна оказаться в руках отставного корнета.

Было дано знать на Хиву. Один из наиболее квалифицированных рецидивистов-домушников получил задание: вечером, перед самым закрытием лабаза, сумка должна быть украдена; наутро, едва лабаз будет отперт и прежде чем хозяин успеет заметить отсутствие сумки, она

должна быть на месте. Вор-домушник, которому через посредника посулили хорошее вознаграждение, не стал вдаваться в обсуждение странного заказа. Целую ночь сумка находилась в распоряжении шорника, изготовившего с нее точную копию.

Вор даже не знал, на кого работает. Грабовский был спокоен: тут его не могут выдать.

Два дня ушло на то, чтобы затереть новую сумку до состояния сильной подержанности, в каком находился подлинник.

После этого оставалось ждать, когда канатчик пойдет за деньгами.

Когда он явился в банк, получил свои двенадцать тысяч и, уложив их в дедовскую сумку, в последний раз склонился было к окошечку кассы, чтобы проститься с кассиром, за его спиной раздался хорошо знакомый голос отставного гусара:

– Здравия желаю, Ферапонт Никонович! Обратите внимание, какой-то хам плюнул вам на поддевку.

Купец на мгновение машинально оторвался от стойки, чтобы глянуть на свою полу, – даже не обтереть ее, а только глянуть. Этого мгновения было достаточно: вместо сумки, наполненной деньгами, около его локтя лежал дубликат, набитый чистой бумагой. Это была работа сообщника Грабовского, стоившая корнету ровно половины куша – шести тысяч рублей. Но и оставшиеся на его долю шесть тысяч были достаточным вознаграждением за игру на скачках да за месяц неумеренного блиноедения.

На следующий день Роман Романович был на обычном месте в трактире Егорова. Он сидел за столиком по соседству с «собственным» столом канатчика и делал вид, будто рассматривает посетителей. Грабовский знал, что до половины второго, когда половой за минуту до прихода канатчика в последний раз для виду обмахнет салфеткой белоснежную скатерть и сверкающий прибор, оставалось еще, по крайней мере, пять минут. Но всякая дрянь уже лезла в голову экс-корнета. Черт знает чего только ни могло случиться! Что, ежели купчине придет в голову поинтересоваться, зачем это он, отставной корнет Грабовский, был в тот день в Волжско-Камском банке? Какие такие были у него там дела? А что ежели (хотя это и маловероятно) купец заметит, что сумка-то не та, не дедовская? Хотя нет, этого не может быть, Роман Романович лично проверил наличие в ней деталей той, старой, вплоть до непарных пряжек на застежке, толстой дратвенной починки на углах...

Ну, а ежели все же?

Пойдет розыск: откуда взялась да кем скопирована?..

Впрочем, и это не страшно: ищи теперь ветра в поле...

К тому времени, когда канатчик наконец показался в зале, Грабовский успел успокоиться. Но тут, при виде внимательных сердитых глаз купца скользкий страх снова заполз в корнетскую душу.

Понадобилось напряжение всей воли, чтобы быть таким же, как всегда, – беззаботным любителем блинов, лошадей и цыганок.

Кажется, все обошлось.

Но даже на следующий день Грабовский успокоился лишь тогда, когда канатчик сам предложил после обеда поехать на бега, чтобы «заиграть обиду».

Нынче, на третий день после кражи, Роман Романович впервые позволил себе уйти от Егорова прежде, чем закончил обед канатчик. Нынче он не желал наедаться блинами. Хотелось снова, как прежде, «разговориться» у Оливье, пустить первую «канатную» «кату» в обмен на все то, что может дать «порядочному человеку» французская кухня.

Роман Романович взбежал к себе в «Мадрид» и, полежав с часок, принялся одеваться. Он стоял уже перед зеркалом, надевая черную фуражку с белыми кантами и с кокардой, особым образом смятую, такую мягкую, что ее можно было зажать в кулак, а отпустишь – она снова как новая. А за ним в нескольких шагах, умильно склонив голову, с распахнутой николаевской шинелью в седых бобрах стоял Степан. Но тут-то Романа Романовича и позвали к телефону.

Разговор был недолгим, но разрушившим планы Грабовского.

– Отставить! – крикнул он Степану и с досадой швырнул на подзеркальник фуражку. – Штатскую тройку!

Пока Степан готовил платье, Грабовский сбрасывал венгерку и шелковую рубашку, неотрывно глядя на себя в зеркало. Вдруг он остановился и подошел к своему отражению так, что чуть не прикоснулся к его носу своим собственным. Он глядел так, что можно было подумать, будто видит себя впервые или, по крайней мере, после долгой разлуки.

Сощурившись, он потрогал пальцем щеку и даже притронулся к мешку под глазом. Кожа была дряблой, нездоровой. Волосы, взъерошившиеся, когда он снимал рубашку, оказались жидкими, липкими от брильянтина. Упавший в зеркало из-за спины Грабовского луч солнца с ненужной ясностью подчеркнул, что лицо у Романа Романовича желтое и черты его не только некрасивые, а даже неприятные: нос слишком длинный, красный, губы тонкие, злые и противного синеватого цвета. А глаза... Дойдя до оценки своих мутных, подернутых слезой глаз пьяницы и развратника, Грабовский отвернулся и злобно сплюнул. Он себе не понравился. И он знал, что больше всего изматывает страх, отвратительный липкий страх, неотступно преследующий его в первые дни после каждого «дела».

«От этого и рожа делается желтее лимона, и глаза слезятся, и волосы лезут, как у отбракованного мерина», – подумал Грабовский.

Дом в Бутырках

Бутырские дворники хорошо знали сумрачную фигуру Петра Петровича Горина. Хотя власть его не распространялась за пределы принадлежавшего ему столь же мрачного, как он сам, четырехэтажного дома, но все дворники при его появлении исправно ломали шапки, а городовые отдавали честь. Горин славился на Бутырках не только крутостью нрава, но необыкновенной скаредностью и умением за грош выжимать из своих служащих такое, чего другой не возьмет и за целковый. Он не желал знать ни плотников, ни водопроводчиков, ни маляров. Все ремонтные дела по дому должны были справлять дворники. А так как дворников в доме было только двое и весь день у них уходил на разноску дров по квартирам, уборку двора и улицы, то на иные работы оставалась только ночь. И вот в то время, как один из них отсыпался на дежурстве под воротами, второй, вместо отдыха, возился со всякого рода починками. От этого в доме стоял по ночам шум, досаждавший жильцам и возбуждавший их недовольство. Иные квартиранты, прожив уговоренный год, а то и не дожив его, съезжали. В доме всегда пустовало несколько квартир.

В этот день Петр Петрович, как и всегда, обойдя двор, вышел за ворота. Там он стоял несколько минут, хмуро оглядывая улицу. Приняв поклоны соседних дворников с таким видом, словно это были его люди, и сплюнув сквозь зубы, он побрел домой. Под тяжестью его большого тела прогибались две толстые доски, проложенные поперек двора, поверх слякотной каши талого снега. Двор был узкий, темный, солнце не проникало в него никогда, и в углах снег держался до июня. Хозяин не разрешал тратить дрова на снеготаялку, пока околоточный не начинал клясться, что дольше терпеть не может и готов отказаться от очередной месячной трешки, лишь бы не нажить неприятностей.

По двору Петр Петрович бродил в глубоких «поповских» ботиках, чтобы иметь возможность сойти с досок и заглянуть во все углы своего владения. Поверх заношенного пиджака, а иногда и просто на исподнюю рубаху, у него бывало надето рыжее от времени драповое пальто, на голове – барашковая шапка, в которой серело уже немало плешей и молеедин. Лицо у него всегда было сумрачное, недовольное, маленькие светлые глазки глядели злобно из-под клочковатых бровей. Бороду Петр Петрович брил. Но так как сам он бриться не любил, а цирюльник стоил пятак, то щеки его почти всегда были покрыты неопрятной рыжей щетиной. В соче-

тании с растрепанными рыжими же усами щеткой эта щетина придавала его лицу совершенно разбойничий вид.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.